

СЧАСТЛИВЦЫ
И
БЕЗУМЦЫ



Игорь Сахновский
лауреат премии «Русский Декамерон»

Игорь Сахновский

Счастливы и безумцы (сборник)

<http://litres.ru>
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=162436
Сборник «СЧАСТЛИВЦЫ И БЕЗУМЦЫ»: Вагрус; М; 2005
ISBN 5-9697-0032-0

Аннотация

Книга Игоря Сахновского "Счастливы и безумцы" входила в шорт-лист премии "Национальный бестселлер" и была удостоена премии "Русский Декамерон" за лучшее произведение любовно-эротической тематики.

В его прозе соединились качества, казалось бы, несовместимые, - жестокость и зоркость авторского взгляда и сильнейший лирический напор, позволяющий читателю почувствовать себя тоже и "счастливым", и "безумцем" на этой земле...

Содержание

Рассказы	4
Если ты жив	4
Нелегальный рассказ о любви	10
Мы сами не здешние	16
Принцип Шнайдера	22
Бахчисарайская роза	28
Непорочное зачатие	31
Быть может	35
Если бы я был Спесивцевым	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Игорь Сахновский

Счастливы и безумцы

Рассказы

Если ты жив

У мальчика совсем не было отца. А матери у него было настолько мало, что иногда он сомневался в её наличии. Вы бы тоже засомневались, если бы ваша мать по всякому поводу говорила «сволочь», в 7 утра улетала из дому на какой-то бизнес, а в 11 вечера приползала назад со своего бизнеса, ложилась в одном лифчике на диван и стонала: «Устала как сволочь! Отстань».

Зато у него была тётя Ада – родная сестра матери, – хотя по виду не догадаешься, – за которой сильно ухаживали штук девять очень внушительных мужчин, и каждый откровенно хотел стать мальчику дядей. Один даже работал директором на заводе холодильных установок.

Конечно, этих желающих можно понять, потому что тётя Ада была просто дальнобойная красотка. Во-первых, она ходила на высоких шпильках (а это уже верный признак красотки), в отличие от матери, которая вообще не снимала кроссовки. Рифма нечаянно получилась: «красотки – кроссовки», так можно и поэтом стать.

Во-вторых, у неё были глаза цвета сливы и разрезом похожие на сливовые косточки, а взгляд как у восточной рабыни, злой и покорный. Это словами не нарисуешь – лучше пойдите и сами гляньте на какую-нибудь восточную рабыню. В-третьих, такая гибкая осторожная походка, словно бы она входила в реку или ногам тесно выше колен. Мальчик уже почти дорос до тёткиной талии, то есть жил на уровне ног, поэтому всегда немножко замирал и волновался, слыша её тесный чулочно-капроновый шорох.

Раз в неделю тётя Ада заходила в гости обсудить с матерью шансы девяти претендентов. Усаживалась по-королевски на диван, вынимала ступни из туфель, теребила и гладила, как птенцов, уставшие пальцы. Мальчика беспокоили шансы всех девятерых: вам бы тоже не понравилось брать кого попало на роль родного дяди. Пользуясь удобным случаем, мальчик вставал в тёткины туфли и выполнял цирковой трюк хождения на шпильках – довольно возвышенное впечатление. Мать говорила: «Он же, сволочь, тебе каблучки ломает!» Шансы мужчин рискованно колебались. Завод холодильных установок часто вырывался вперёд.

Тут ещё откуда ни возмись маленький лысый человек по имени Марик, с большим ртом и собачьими глазами. Такой невнушительный, что даже не вошёл в законную девятку – ошивался вокруг тётки Ады сам по себе. Он, между прочим, её предупредил: «Можете, конечно, погулять с этими. Но жить вам предстоит со мной».

Ну да, как же. Прямо все мечтают с ним жить. Это мать сказала. А тётя Ада психовала и торопилась. Потому что ещё год-полтора – и всё! Считай, старая дева.

А тут получается так, что холодильный директор разводится насовсем с женой и с ребёнком, потому что жена ему кричит грубости, обзывает не мужчиной и не варит ничего из еды. Он голодный приходит после работы, жена обзывается, а он вместо первого-второго-третьего грызёт чипсы и сосет конфеты. Или вынужден ходить в лучшие рестораны города. Тётя Ада его жутко жалеет, прямо до слёз, и хочет сама директора кормить. Хотя, если честно, конфеты с чипсами и с газировкой в сто раз вкуснее первого-второго, а рестораны – ещё интересней.

Перед свадьбой тётка заранее всех просила «горько!» не кричать, потому что целоваться при людях ей неудобно. Она, кажется, вообще не собиралась мужа целовать. Только едой кормить.

Для свадебного путешествия директор установок предложил Турцию, но тётя Ада захотела в город Анапу на Чёрное море – она там загорала и купалась, когда была школьницей. Уехали поэтому в Анапу. Сняли за городом у красивой толстенькой хозяйки полдома с верандой, выпили вина, поели салат из местных помидоров и пошли спать, потому что уже настала первая брачная ночь.

Утром тётя Ада вышла в плохом настроении на веранду. И первый, кого она увидела, был маленький лысый Марик. Он, оказывается, тоже здесь ночевал – на веранде или даже под дверью, но уже успел свернуть свой матрасик и побриться.

– Доброе утро, – молвил Марик, приступая к утренней гимнастике. Новобрачная тётя Ада ушла на море купаться, сильно удивлённая.

А холодильные установки сразу двинулись к хозяйке выяснять: что за фрукт у них тут делает приседания и стойку на голове? Хозяйка завершила: «Это мужчина, жилец, очень приличный, тоже вчера приехал». И поправила причёску.

Следующим утром тётя Ада вышла из комнаты заплаканная. И снова наткнулась на умного, всё понимающего Марика. И следующим утром. И следующим. На четвёртый день испортилась погода, стала хмурой, слёзной, как настроение. В луже у крыльца тонули заблудившиеся куры и остатки надежды. Один только Марик был светлым и радостным. Если тётя Ада пыталась выйти погулять, он уже стоял наготове с резиновыми сапогами и зонтом. Холодильник упорно предлагал сменить жильё. Лучше бы он помалкивал и больше ничего не предлагал.

Как это у них всё произошло – природная загадка. Но с Чёрного моря тётя Ада вернулась вдвоём с Мариком, тихая, красивая, даже красивее себя.

А через год у мальчика не было человека ближе, чем дядя Марик. Его можно было спросить что захочешь – ни разу не было, чтобы не знал. Даже про любую глупость. Допустим, почему все так любят пиво? Обязательно ответит, с физическими подробностями. Они иногда отправлялись по мужским делам, пиво пить. Ну, то есть дядя отправлялся, а мальчика по секрету брал с собой. И давал отпить полстакана. Во рту было как-то горько – вино портвейн и то вкуснее. Чего тогда, спрашивается, любить?

– Поясняю, – сказал дядя Марик. – Пиво не должно быть вкусное. Самое вкусное в пиве – отрыжка. Человек выпил и дожидается, когда наступит.

Иногда обсуждали женщин.

По мнению дяди, они существа очень хорошие. Но опасные.

– А почему опасные?

– Поясняю, – сказал дядя Марик. – У женщин чувства главнее мыслей. Но в этих чувствах они плохо понимают. Ты, например, всю свою мужскую жизнь по её желанию потратил. Так? А ей вдруг бац – и расхотелось!

Затем открылась потрясающая физическая тайна. Оказывается, у женщин приключается иногда бешенство матки. Типа такой сексуальный приступ. И тогда, пояснил дядя, полный абзац. Жена и муж – как насмерть приклеенные. Только хирург поможет. Представляешь позор: тащиться в больницу в приклеенном виде! «И что делать?» – слушатель был на грани отчаянья. Но дядя знал выход. Опытный мужчина всегда носит при себе иголку. Если внезапно уколоть, спазм пройдёт сам собой, и не надо к хирургу. А бывает, плывёшь в океане или в реке, так? И вдруг – судорога ноги! Опять же спасёт иголка. После таких полезных бесед можно было гораздо уверенней общаться с женщинами или плыть в океане.

В том же пивном кафе к дяде прицепился один выпивший военный с разговором насчет национальности. Он обозвал дядю Марика жидом, а потом выкрикнул дурным голосом, как

по телевизору какой-нибудь народный депутат: «Что вы, жида, сделали с нашей Россией?» Мальчик был уверен, что дядя сейчас ответит: «Поясняю...», ну и так далее.

Но он промолчал. Он молчал даже после того, как военный плеснул ему пивом на брюки.

И потом на обратном пути мальчик всё допытывался, почему дядя Марик не треснул этого придурка по башке. Почему? Боялся?

– Боялся, конечно, – ответил дядя. – Боялся, что убью. А если убью, меня посадят на пятнадцать лет в неволю. Что будет с тётёй Адой?

Стало ясно, что маленький лысый дядя Марик в гневе страшен, как Терминатор.

Он однажды встречал тётю Аду возле поликлиники, где она работала врачом, и к ней привязался не то маньяк, не то грабитель – догнал и схватил за воротник пальто... Но в результате маньяка можно было пожалеть. Потому что дядя Марик держал его за волосы головы и бил этой головой прямо о поликлинику, пока не отбил от неё здоровый кусок штукатурки.

Покуда мальчик вырос, он не успевал уследить за переменами в близких людях – слишком был занят собственным взрослением. Между тем со временем становилось уже заметно, что мужчина с собачьими глазами и женщина с покорными злыми глазами невольницы – не слишком удачное сочетание.

Возникло такое грустное неравенство: беспризорная собака отыскала себе любимую хозяйку, а рабыня себе господина так и не нашла. Поэтому иногда она кидалась его ловить – в каких-то случайных гостях, на чужих днях рожденья и всеядных вечеринках, там её норовили напоить, а затем увезти на запотевшей иномарке в другие гости. После полуночи дядя звонил матери мальчика, мать говорила: «Сволочь Адка, вразнос пошла!», а дядя Марик, обшаривая ночной холодный город, сходил с ума.

Из прошлых лет выплыли конкуренты номер три и номер восемь, к ним примкнули четверо новых и отдельный чеченец Беслан.

Согласно семейной легенде, дяде Марику в конце концов удавалось найти пошедшую вразнос тётю – то в чеченских объятьях, то в пьяном бесчувствии, то в испачканной шубе, лицом в снежной слякоти. И всякий раз тётя Ада была увезена домой, старательно вымыта и смазана кремом. Легенда не сообщала в деталях, какие военные удары наносил дядя по кавказским террористам. Но в одной жизненной подробности можете не сомневаться: горячей водой мыл и кремом смазывал.

И теперь взрослеющий мальчик испытывал к дяде Марику что-то вроде презрительного сострадания. Никогда, сказал он себе. Со мной такого не случится никогда. Спасти, вытащить из грязи – ещё ладно. Но простить измену и опять жить набело, как ни в чем не бывало?! Фига с два.

Он уже судил как начинающий мужчина, с высоты своего счастливого и совершенно секретного опыта. Её звали Д. Она работала в модельном бизнесе. В городе её знала каждая собака, и не только в городе. А те, кто не знали, всё равно видели её тонкое чувственное лицо, её полуодетую фигуру на рекламных щитах нечеловеческого размера, в залистанных лакированных журналах. Ею любовались и владели все, насколько позволяет собой овладеть недостижимый гламурный образ: близорукая богиня в дымчатом чулке, роняющая над светофором, прямо над автомобильной пробкой, остроносую туфлю без задника, в то время как матовое голое плечо под прожектором напудрено блистающим февральским инеем. И только ему, пятнадцатилетнему любовнику, дозволено было видеть её дома, зябнущую в атласной пижаме, баловаться с ней до умопомрачения перед зеркальной стеной огромной квартиры-студии с убранными перегородками, смотреть, как она, высунув кончик языка,

бреет себя, как одевается, прыскается туалетной водой, знать, что у неё побаливает желудок, что она обожает запретные пельмени: «Можно, я у тебя украду всего два?...»

Она подарила ему простые слова, которые могут осчастливить любого мужчину, не то что бесправного мальчика. Сказала: ни с кем никогда ей не было так хорошо. И она его подождёт, то есть дожждётся его совершеннолетия.

Д. часто уезжала – он всегда точно знал дату её возвращения, поскольку они условились не теряться, в любом случае не теряться, ни на один день. Оставаясь в одиночестве, он ходил по городу воспалённый и гордый, со своей радостной тайной, которая плавилась и текла, как жидкое золото, по всему телу. С перекрёстка на центральном проспекте Д. смотрела на него более незащитно и трогательно, чем на улице Малышева, где немножко виднелась левая грудь, а выражение глаз было скорее высокомерным.

По пути домой он выходил из трамвая раньше на три остановки, сворачивал в старый переулок и пересекал её двор, чтобы коснуться взглядом трёх окон на четвёртом этаже: он любил их даже тёмными, пустыми.

За двое суток до её приезда из Милана мальчик продал однокласснику недавно подаренный матерью цифровой плеер и купил для своей возлюбленной модный парфюм. Апрель был довольно тёплый, но к вечеру подмораживало. Когда он добрался до её дома, уже стемнело. По двору носился чей-то загулявший эрдельтерьер. Мальчик поднял глаза – и замер. Все три окна ярко светились.

Значит, она вернулась раньше! Он уже влетел в подъезд, но резко замедлился между вторым и третьим этажами, смущённый путаницей в мыслях и громким сердцебиением. Спокойно, сказал он себе.

Спустя пару минут мальчик стоял на лестничной площадке дома напротив и сквозь мутное стекло до рези в глазах пытался углядеть, что происходит в квартире Д. Он не столько видел, сколько угадывал присутствие двух или нескольких теней, их невнятные проходы, колебания заслоняемого света.

Загулявшему псу хотелось поиграть, и, когда мальчик, хлопнув дверью, выскочил наружу, эрдель с лаем кинулся вдогонку – со стороны выглядело так, что мальчик убегает, спасаясь от собаки. Водитель «девятки», мужик с усталым лицом, за 40 рублей взялся довезти до дома и обратно. Ехали нестерпимо медленно. Потом ключ в замке ворочался, как чужой. Матери не было. Оно и лучше: никто не спросит, куда он понёс полевой бинокль, куда звонит, дважды перенабирая номер. «Абонент недоступен», – сообщила механическая девушка, и в этом тоже чудилась угроза.

Эрдельтерьер встретил его уже как родного. Окна горели. Мальчик вернулся на свой наблюдательный пункт. Его знобило. Мощным колючим опахалом на фиолетовую гладь напоздали ресницы – секундный обморок зрения. Первым вошёл в фокус голубоватый бокал с вином на подоконнике. А там, глубже, левее, ожидаемый угол стола затмевался краем портьеры и чем-то широким, телесным. Сначала он подумал: это женщина с толстой спиной. Но торс был мужской и совершенно голый. Чуть наклоняясь, мужчина стоял у стола так, будто готовил закуску. Размеренные короткие движенья напоминали строгание мяса или овощей. И лишь потом, взглядевшись, мальчик заметил вскинутую женскую ступню – она белела за плечом стоящего, безвольно дергаясь в такт его монотонной работе. Это могло показаться изнасилованием, если бы не ласкающий перелёт узкой знакомой ладони по спине к пояснице насильника.

Когда он уходил прочь, пса во дворе уже не было.

Через двое бессонных суток он позвонил Д., чтобы услышать: она только что приехала, она так скучала, она его ждёт!...

Мальчик положил трубку и спросил себя, что имеет право называться «смыслом жизни», если он собирается жить дальше? Ничто, ответил он себе. И не собирается.

Окончательное решение потребовало полутора часов, которые он провёл в ванне, разглядывая собственные руки, ноги, волосы на животе, будто видел их впервые. Потом, вытершись насухо, он подошёл к старому зеркалу в прихожей, заглянул себе в зрачки и сказал:

– Не хочу.

Если мужчина решил умереть, он должен действовать технично и здраво. Неудача в таком деле равносильна позору. Он уже выбрал вполне легальное средство – ударную дозу транквилизатора, который возьмёт из кухонного шкафа. Доступно и безболезненно. Надо просто уснуть, послать себя в ноль, а химия сама заглушит ненужную сердечную мышцу. Он это сделает утром, без прощальных жестов. Когда ближе к ночи мать вернётся домой, всё уже будет кончено.

Пугала только одна мысль: безвестность. Никто не узнает, даже не поймёт причину самоубийства. Каждый будет судить в меру своей пошлости – это неизбежно. Но чтобы вообще никто, ни одна живая душа?... Ужасно. И вот тогда мальчик вспомнил про своего дядю, близкого, но нейтрального человека, который всё поймёт и уж точно не помешает.

Просьбу любимого племянника поговорить «строго между нами» дядя Марик воспринял как высокую, важную миссию. Он даже надел по такому случаю в меру потёртый галстук времён перестройки и демократизации. Встретились вечером в кафе «Надежда», тихом и непопулярном, где раньше вместе пили пиво. Дядя взял себе кружечку, а племянник отказался.

Мальчик рассказывал по возможности сухо, не вдаваясь в подробности, но всё-таки волновался, бледнел, опускал глаза. Дядя Марик хмурил брови и немножко излишне важничал. Почти сразу поняв, о ком идёт речь, он позволил себе уточняющие вопросы: «Сколько ей лет?», «Она русская?» и даже зачем-то: «Она курит?»

– Разве это имеет значение? – спросил мальчик.

– Огромное, – заверил дядя и взял ещё пива.

О своём желании умереть мальчик заявил более чем твёрдо. Но дядя всё уточнял и уточнял:

– Ты уже решил?

– Уже.

– На сто процентов?

– На двести.

Дядя Марик поглядел по сторонам, как опытный заговорщик.

– Молодец, – сказал он тихо. – Мужское решение. Уважаю.

– Спасибо за поддержку, – мальчик был слегка обескуражен.

– Да, я поддерживаю. И словом, и делом!

– В каком смысле – делом?

– В том смысле, что уголовным. У меня есть хороший друг в прокуратуре.

– А при чем здесь прокуратура?

– Поясняю, – сказал дядя Марик. – Ей двадцать четыре года, так? А тебе ещё нет шестнадцати. Что мы, извиняюсь, видим? Раствление малолетних. Совершение и разврат.

– Это была любовь.

– Любовь – да. Но если ты жив. А если нет? Я её накажу.

– Кто тебя просит?? – мальчик почти кричал.

– Никто. Но я обещаю железно. Как только ты совершишь это самое, я тоже кое-что совершу. Клянусь. Пусть посидит в неволе.

– Это подлость.

– Ещё бы. Срок будет приличный.

– Ты сука, ты предатель!

– Хорошо, – сказал дядя Марик. – Я предатель. – И взял ещё пива.

Вечер был изумительно прозрачным.

И невзначай можно было залюбоваться походкой покидающего кафе – с таким он шёл взрослым и вкусным чувством собственной правоты. Запас его будущей жизни равнялся теперь количеству воздуха в этом апрельском пространстве. И старенький лысый предатель, уткнувшийся там в своё пиво, никакому на свете прощению не подлежал.

Нелегальный рассказ о любви

Через два месяца после начала их знакомства она вдруг поинтересовалась, как он выглядит. Вместо ответа Локтев сказал: «Подожди пару минут. Курить очень хочется», – и пошёл на кухню.

Было уже за полночь. Домашние спали без задних ног. Он покурил в темноте под форточкой, пригнувшись к дыханию оттаявшей городской реки – нечистому, как после заспанного пьянства. На обратном пути из кухни Локтев на всякий случай заглянул в зеркало в прихожей. Ничего особенного там не наблюдалось – разве что некоторая элегантная помятость.

– У нас уже апрель, как ни странно, – сообщил он, вернувшись к компьютеру.

– И у нас, – отозвалась она. – А как насчёт внешности?

– Внешность имеется.

– Подробней, пожалуйста.

– Что я могу сказать? Негр преклонных годов. Лысоватый. Без одной ноги, кажется левой. Утрачена в боях между Севером и Югом. Нос ампутирован полностью, уши – частично...

– Знаешь, Локтев, в чём весь ужас? Я теперь настолько в тебе нуждаюсь, что мне уже не важно, как ты выглядишь. Даже твой пол роли не играет!

– Пол – совершенно точно, что не женский, – уверенно заметил он.

– Я уже без тебя не могу.

– По такому случаю скажи мне хотя бы, где ты живёшь?

– Отстань. Достаточно твоей догадки, что не в России. Сообразительный ты мой.

– Рано или поздно я приеду и тебя найду. Значит, так. Я снимаю номер в гостинице неподалёку...

– Ты вообще такие слова забудь! Хочешь моей смерти? И своей заодно... Мы с тобой, Локтев, не встретимся НИКОГДА.

Они познакомились в компьютерном чате «Романтическая Болталка» – одной из тех виртуальных комнат, куда беспризорные обитатели Интернета сбредаются со всего света ради так называемой роскоши человеческого общения. Ради трёпа, флирта, взаимной рисовки, быстрорастворимых симпатий и сложносочинённых обид, перемывания костей и многословных суррогатов секса, окрашенных в линиялые цвета плохой литературы. Ради плотного гула эфемерных голосов, пишущих себя на экране монитора – сверху вниз, как бесконечную пьесу голодных самолюбий и грамматических ошибок, – и ради одного-единственного желанного голоса, который тоже, скорее всего, никогда вживую не будет услышан.

В «Болталке» обыкновенно бесчинствовала ярко-зелёная молодёжь, словно бы загипнотизированная лёгкой возможностью поговорить с целым миром, но иногда вдруг панически осознающая, что говорить-то, собственно, нечего...

Локтев, как водилось у него перед сном, пощёлкал по цветным ссылкам круглосуточной интернет-газеты, обходя стороной поднадоевшие наживки типа «Сенсация этого часа!!!» или «Горячие блондинки обнажаются полностью...» В тот вечер он заглянул в чат из простого любопытства, как одинокий приезжий в незнакомом городе заглядывает в самое шумное злачное место, – и почти сразу же заметил её. Нельзя было не заметить среди «Крутых Драконов», «Терминаторов» и «Самураев» – просто «Ирину». На этой площадке хищного молодняка она выглядела чуть растерянной, подраненной антилопой, которой некуда уйти от алчных бойких львят: им ещё не под силу порвать её на сахарные кусочки, но позаигрывать и покусаться – одно удовольствие. Она либо не успевала реагировать на подколы и прямые дерзости, либо отвечала на них с вяловатым простодушием. От львят не отста-

вали их ревнивые подружки («Орхидея», «Ведьмочка», «Мулатка»), углядевшие дефектность чужачки в её недостаточной бойкости.

Локтев понаблюдал эту сцену, выбрал себе какой-то зверский псевдоним, вроде «Джека-Потрошителя», и влетел в чат, намеренно забыв поздороваться. Первым делом он порекомендовал заводиле Терминатору срочно сменить памперс. Потом официально запретил Крутому Дракону сниматься в мультфильмах, чтобы не засорять собой кинематограф. Голос повысил Самурай, но Джек сурово напомнил, что священный долг самураев – хакири, так что хватит трусить, уже давно пора!... Когда публично униженные персонажи пришли в себя и кинулись вколачивать в клавиатуры весь свой непечатный запас, никого Джека-Потрошителя уже не было и в помине. Зато в чат под шумок вошёл деликатный Женя-Хирург и завёл с Ириной тихую человеческую беседу в «привате». Она поставила ему в упрек негуманное обращение с молодняком: всё-таки ещё дети, – на что ей было резонно отвечено: «Детей чрезвычайно полезно иногда бить по попе» (Локтев имел существенный педагогический опыт благодаря сыну-семикласснику – знатному испытателю пороха в домашних условиях).

В первые же вечера их с такой силой потащило, поволокло навстречу друг другу, таким мощным и сладким током пробивало от губ до пальцев ног, что физическая недосыгаемость служила скорее облегченьем, чем пыткой. Им ничто не мешало прильнуть и совпасть счастливейшим образом – лишь грандиозный кусок туманного пространства, о котором всерьёз и подумать-то страшно... Впрочем, уже к двадцатой совместной полуночи Локтев всё же подумал, невзирая на запрет, и страха не испытал. Страшно почему-то было ей. Она даже заплакала, когда Локтев признался, что видит показания компьютерной программы, которая всегда исправно регистрирует время вхождения собеседницы в чат – причём её местное время. Оно то приходилось на Гринвич, то странным манером сдвигалось на час ближе... Обескураженный Локтев невпопад цитировал подлую матушку из русской народной песни: «Дитятко моё!... Я тебя не выдам!» И уже всерьёз клялся, что никогда, никогда в ту сторону шагу не сделает без ведома и против её воли... Только не рыдай, чёрт бы тебя побрал!

Именно этот «пакт» о не встрече позволил им не стесняться в словах. Словами и только словами – жуткими, влажными, голыми – они теперь любились, ласкались, лакомились и травились. «Что ты сейчас делаешь?» – спросил он однажды, когда после сумасшедшего, бесстыдного диалога она смолкла на несколько минут, словно выпала в глубокий обморок. «Что ты сейчас делаешь?» – дважды повторил он. «Ты будешь смеяться – глажу рукой клавиатуру». Иногда она грустно шутила: «Сиротинушка мой! и просила: Потрогай сам себя, будто бы это мои руки!» «Ещё чего! – ругался Локтев. – Что за развраты в наше сложное время?...»

Напряжённость возникала, лишь когда он пытался нащупать реальные обстоятельства.

– У тебя есть муж? – спрашивался Локтев как ни чём не бывало.

– Да! Есть! Верный и любящий!! – рапортовала она, и четыре восклицательных обозначали некий вызов, чтобы, не дай бог, ни один гад не заподозрил, что она одинока и нелюбима.

«Зато я теперь неверный муж».

– А дети?

– Детей нет. Ты бы хотел, чтобы я тебе родила?

– Хотел бы. Дочку.

Как-то раз компьютер показал просто невероятную разницу во времени – 12 часов. Локтев чуть не поперхнулся горячим «Nescafe», прокашлялся и спросил между прочим:

– Ты не в курсе, как там погодка в Вашингтоне?

– В Нью-Йорке, Штирлиц. Довольно свеженькое утро.

В свои свеженькие утра – то морозные, то слякотные – доктор Локтев, пьяный от недосыпа, ездил на трамвае в хирургическое отделение старой муниципальной больницы, где за нескончаемую череду сложнейших, муторных операций ему более-менее регулярно платили неназываемо стыдную зарплату. Изредка, в угоду вдохновенью, Локтев сочинял блестящий экономический экспромт, отчего резко богател – недели на две. Жена Локтева, администратор фешенебельной гостиницы, зарабатывала гораздо лучше и не оставляла попыток увлечь мужа «чем-то реальным».

Но в ту отчаянную весну уже более чем реальной стала его невозможная, заведомо обречённая страсть к невидимой женщине из неизвестной страны.

... Иногда они ссорились и мучили друг друга – как старые любовники, ожесточённые взаимной зависимостью.

Одна из ссор имела под собой опять же географическую подоплёку. Локтев подключился к Сети минут на десять раньше условленных 23:00 и нечаянно подглядел в чате её разговор с неким СуперБизоном. Видимо, впечатлённый своей беспримерной мужественностью, СуперБизон говорил всем женщинам в чате «крошка» или «моя малышка», зачем-то перемежая кириллицу с латиницей.

– tЫ отkуда kpoШka?:)))) – окликнул он Ирину.

«Прямо так тебе и сообщили!» – подумал желчный Локтев.

– Из Рима, – легко ответила она. И Локтев испытал такой острый приступ бешенства, что сам себе поразился...

«Ты просто ревнуешь», – сказала она чуть позже. Он молчал. Она попросила: «Женя, не надо. Не делай со мной так!...» Он ничего и не делал – просто выключил компьютер и лёг спать. В соседней комнате презрительно посапывала жена. Четыре дня Локтев не выходил на связь. Он даже не заглядывал в электронную почту, где мариновались непрочитанные записки: «Не надо, не надо со мной так!...»

Обалдев от счастья, локтевский сынок Дима захватил освободившийся компьютер, чтобы сокрушать каких-то монстров. Его папаша теперь после работы, как тяжелобольной, валялся на диване в обнимку с толстой книжкой либо утыкался лицом в стену, делая вид, что спит.

«В тот же день, – сообщал любимый локтевский автор, – он перебрался в Женеву, в гораздо более пристойное жильё, съел на обед омара по-американски и вышел в проулок за отелем, чтобы найти первую в своей жизни женщину...» Локтев закрыл книгу и стал сводить сложные счёты с обойными цветочками. Но жизнь сворачивала куда-то влево, обрываясь на мёрзлом известковом пустыре.

На пятый вечер длинно и требовательно зазвонил телефон. Изумительно свежий голос произнёс: «Привет, мой милый», и Локтев точно понял, что пустырь в его жизни если и случится, то не скоро.

– Имею сильную потребность в общении с пожилыми неграми.

– Они тоже имеют... Ну и что дальше?

– Локтев, у них есть полное право, полное!

– Как ты сейчас выглядишь? Расскажи мне.

– Ну... Волосы – такой блестящий беж с темнотой. Сегодня с утра надела чёрный шелк с тонкими цветами, на голое тело. Каблук высокий, бёдра не гуляют. Жёсткой отмашки не наблюдается. Спина прямая, ноги длинные, поэтому кажусь выше себя... Алло-о! Что нас ещё беспокоит?

– Город Рим, в частности.

– Так... Что у нас там с городом Римом? Записывай. Абсолютно безумное, дурацкое место. Пыль, жара, туристы ходят стадами, мотоциклы тарахтят. Колизей полуразрушен. Калигула – подлюка. Юлия Цезаря просто убили насмерть. В ресторанах встречаются мухи.

На улицах – ты не поверишь – итальянские мужчины пристают. В общем, город так себе. Но я бы, кстати, не отказалась пожить на Палатинском холме... Локтев, не забудь сегодня в 23 часа!...

Автоматическая девушка вдруг предупредила по-французски: оплаченное время истекло, и он заслушался короткими гудками.

– Откуда звонили? – спросила жена.

– Из Женевы, – ответил он тоном, отсекающим любые дальнейшие вопросы.

Глубоко за полночь, после «сеанса связи» Локтев брал на поводок свою чистокровную дворнягу Берту и шёл погулять вокруг дома. У Берты вечно болели уши, поэтому локтевская жена связала ей стильную косынку для гуляний. Локтев вышагивал вдоль знакомой наизусть темноты, воображая себя ночной стражей. Берта, похожая в косынке на молодую бандершу, увлечённо инспектировала местность. Рядом шевелилась грузная река.

Дожили до лета. В июле главврач больницы навязал ему пятидневную командировку в Москву – формальную, никчемную. Локтев ехать не хотел, изобретал отговорки. Потом махнул рукой.

– Я скоро в Москву поеду, – сказал он ей. – Ты смотри тут не балуйся без меня!

Она с минуту помолчала и ответила:

– Знаешь что? Я, пожалуй, тоже в Москву съезжу...

И он подпрыгнул на месте, как мальчик.

В оставшиеся до отъезда дни она позвонила ему шесть раз. Та же бесповоротная решимость, стоявшая недавно за словом НИКОГДА, теперь звучала в доскональных инструкциях, диктуемых Локтеву с другого конца света. Ему надлежало, добравшись до столицы и нигде после поезда не останавливаясь, промчаться по двум коротким отрезкам на метро, выйти к междугородной автобусной станции и сесть на автобус, идущий в сторону Клина. «Локтев, я тебя умоляю: никаких такси и тем более частников – только рейсовый автобус!» – «Бережешь мои финансы?» – «При чём здесь твои финансы... Запоминай дальше: ты едешь до Теряевска». – «Название сама небось придумала? Таких городов вообще в природе нет». – «Ещё как есть. Это скорее посёлок... С аборигенами в контакты не вступай, с хулиганами не связывайся. Смотри высокие дома. Их там всего два. В одном гастроном, в другом почта. Тебя интересует первый подъезд в доме, где гастроном. Девятая квартира». – «Меня ещё интересует, сколько у нас будет времени». – «Мало... Сутки или двое».

Последний раз она позвонила из аэропорта. От трубки тянуло мировым сквозняком.

– Пожалуйста, не выйди случайно в Клину.

– Постараюсь...

– Я тебя жду!

– ... а то мы уж очень редко видимся.

Ему досталось боковое место в плацкартном вагоне, забитом до полной имитации лагерного барака, где взаимная неприязнь страждущих тел с грехом пополам возмещалась пресловутым российским терпением. Локтев почти всю дорогу прилежно спал на пыльной своей боковине, вставая лишь изредка покурить и умыться.

Москва смотрелась огромным перевалочным пунктом на пути из провинции в захолустье. Нужный Локтеву автобус нехотя впустил в себя пассажиров и стартовал с часовым опозданием. При восхождении на каждый достойный ухаб допотопный «ЛиАЗ» хрипел и содрогался. Из-за жёсткой пыли и выхлопных чихов хотелось бросить вредную привычку дышать. Когда через два с лишним часа водитель объявил остановку «Теряевск» – несбыточную до последней минуты, Локтев готов был заподозрить сговор автобусного парка с некими секретными службами... Но травленная дорожным смрадом зелень, и милые толстоногие

тётки в шлёпанцах, торгующие клубникой и молодой картошкой, и цветастые палисадники вокруг невзрачного жилья – всё было чересчур настоящим.

С площади-маломерки, привстав на цыпочки, пытался взмыть жизнелюбивый Ленин. Панельная пятиэтажка с почтой стояла чуть ближе, чем его заслоняемый гастроном, – у Локтева оставалось короткое время для конспиративного маневра. Прогулочным шагом (с большой дорожной сумкой это выглядело смешновато) он стал огибать площадь по травяному периметру, не приближаясь к домам. Достигнув удобной точки обзора, Локтев собирался повернуть влево, но никуда не повернул. Потому что в этот момент – прямо через площадь – он увидел её.

Светлая шатенка в чёрном обтягивающем платье болтала у магазинного крыльца с какой-то бабулей, всю жестикулируя голыми руками. Бабуля улыбочиво кивала и зачем-то приоткрывала свою кошёлку, словно приглашала в ней разместиться. Незнакомка мельком взглянула на площадь – Локтев невольно подался назад, заслоняясь ленинским подножием. Между тем говоруньи расцеловались и пошли в разные стороны: старая в магазин, а молодая – в крайний подъезд того же дома. Но прежде, чем уйти, она снова обернулась к площади и легко, по-птичьих махнула рукой: иди сюда! «Кому это она?» – удивился Локтев. И снова удивился, теперь уже своей тупости. Кроме Ленина, вокруг не было ни души.

Она его ждала в тесном тамбуре подъезда. Совершенно чужая привлекательная женщина, старше него и немного выше. Длинные светлые глаза, будто размытые акварельной кистью, и крупные губы на тонком холёном лице. Гибкая худоба и низкая тяжеловатая грудь. И вот эти первые секунды разглядывания стали настоящей пыткой для Локтева. Он вдруг вообразил себя плюгавым уродом, который к тому же дурно пахнет: вагонным туалетом, двухдневной немытостью, пылью. Потом она признается, что сама была близка к панике: «Мне показалось, ты страшно разочарован!...» Словно в кривые зеркала, они посмотрелись один в другого, готовые немедленно разъехаться – подальше от своей стыдной ошибки. Но никуда они не разъехали, а пошли в девятую квартиру, где Локтев тотчас эвакуировался в ванную и там, намывшись до младенческой чистоты, разглядывал себя голого с последней критической строгостью военного трибунала. Она принесла ему свой махровый халат, в котором он сидел потом на полутёмной, вечеряющей кухне напротив неё, молчащей, и пил крепкий чай с какими-то странными лимонными пирожками – их можно было есть десятками, а всё хотелось ещё, но после шестого пирожка она встала, не очень уверенно подошла и села ему на колени. Поцелуй получился мокрый и лимонный. Но уже после второго и третьего хотелось только таких. Поскольку не было ничего вкуснее в жизни, чем эти сильные бархатные губы и голое дыхание изо рта в рот. Стройный поцелуйный сюжет то и дело отклонялся в стороны из-за неловких вторжений под халат, вынимания тонкостей и пышностей из жаркого трикотажа, расширения тесных прав и набега мурашек. И каким-то чудом в полупустой, нежилой квартире среди полной тьмы была обнаружена свежая холодная постель, куда они в горячке слегли и, можно сказать, больше не вставали.

... За тридцать часов, прожитых вместе, они не сказали друг другу почти ничего: так много слов произросло до встречи, на пустом, казалось, месте. Больше не было слов – было истовое или, скорей, неистовое служение одной вере, общей для всех счастливых и обречённых, – проникновению в райский разрез на смутной, срамной поверхности бытия. Проникновению или возврату.

«Напиши мне что-нибудь на прощанье, оставь свой почерк, я спрячу...» Он нацарапал в её записной книжке чьи-то стихи, давным-давно случайно запомненные и дотерпевшие до своего часа:

«Чего от небес я мог бы желать
неистово и горячо?

Того, чтоб тысячу лет проспять,
уткнувшись в твоё плечо».

Обратно в Москву ехали вместе на таком же полумёртвом «ЛиАЗе», но сидели порознь – она так настояла. На полпути двигатель закашлялся и окончательно сдох. Шофёр, тоскливо ругаясь, бегал из кабины до пыльного капота и обратно. Потом беспомощно развёл руками и сел на своё место. Пассажиры – в большинстве пожилые сельчане – хмуρο молчали. Локтев увидел, как она достала сотовый телефон, похожий на перламутровую пудреницу, и стала набирать длинные номера, один за другим. В полной тишине мужики и бабы с напряжённым вниманием слушали её телефонные разговоры то на английском, то на французском. Под конец она набрала ещё один номер и сказала по-русски, понижая голос: «У меня всё нормально... Я недалеко от Фрязина». Сидевший рядом с Локтевым дед выразительно хмыкнул – никакого Фрязино поблизости не было и быть не могло. Спустя полчаса стояния в чистом поле шофёр поймал на трассе попутный «Икарус» и уговорил о подмоге. Водитель «Икаруса» соболезнующе заглянул в погибший «ЛиАЗ», чтобы заявить свои условия спасения – по 20 рублей с носа. Две трети пострадавших даже не шевельнулись. Толстосумы, владеющие лишней двадцаткой, легко покидали автобус под тяжёлыми взглядами остающихся...

Уже в городе они посидели за пластиковым столиком уличного кафе позади хвостатого Юрия Долгорукого. Вокруг было таклюдно, что каждый в отдельности был практически невидим. Пользуясь этим, она извлекла ноги из высоких туфель и сложила на колени Локтеву, отчего ему стало горячо и тесно. Узкие белые ступни с маленькими луками изгибов умещались в ладонях. Разговор шёл примерно в таком духе: «Что скажете, доктор Локтев? Какой ваш диагноз?» – «Дайте посмотреть... На фоне полного хронического совершенства только один приличный дефект. Вот тут». – «Вон там??» – «Вот здесь». – «Мне щекотно и не видно. Покажи!» Он нагнулся к её левой ступне и поцеловал поперечную морщинку в нежной впадине возле пятки.

Они даже не простились. У спуска в подземный переход на Пушкинской она потребовала: «Всё. Дальше не ходи!» Он кивнул, посчитал до десяти и с небольшим отрывом пошёл следом. Она пересекла Тверскую почти бегом, но Локтев успел заметить, как возле «Макдональдса» она нырнула в длинный затемнённый автомобиль, в каких возят очень большое начальство либо очень солидных бандитов. Двухметровый белёсый младенец в чёрном костюме захлопнул за ней дверцу и остро оглядел местность, не отводя от уха переговорное устройство.

В поезде на обратном пути Локтеву приснились бестолковые командировочные хлопоты, необычно весёлая жена (он её сто лет такой не видел) и его чистокровная Берта в вязаной косынке, бегающая по берегу замусоренной реки.

Она позвонила через неделю во время сильного ливня: «Понимаешь, такая беда... Я тут себя всю обсмотрела – и нашла этот дефект на ноге! Я нашла. И теперь просто не знаю – что делать! Уже ведь ничего не исправишь... Локтев, ничего не исправишь. Такая беда». Он стоял с телефонной трубкой у жаркой щеки, глядя на заплаканную реку сквозь непроходимую светлую стену дождя.

Мы сами не здешние

Если на тот момент в мире ещё оставалась хоть одна утонченная дама возвышенной породы, то это, конечно, была Нина Л. Имея снисхождение к людским слабостям, Нина служила официанткой в дорогом элитном кафе, незамужняя и прекрасная.

Нельзя сказать, что люди были ответно снисходительны к Нине Л. Во всяком случае, они только и делали, что пили и жевали, истребляя то, что Нина им приносила и столь изысканно сервировала на свежих серебристых скатертях.

А между тем взлётные способности её души были таковы, что едва ли не каждый посетитель рисковал стать возлюбленным Нины Л. Для этого достаточно было мужественному с виду незнакомцу на двадцатой минуте ожидания за дальним столиком приречь Нину сумрачно полыхающим взглядом – она умела вычитывать в мужских глазах одинокую могучую нежность и невысказанный вопрос.

Возможно, иная сугубо прозаическая натура вычитала бы в них совсем другое: «Когда уже, наконец, эта фифа принесёт меню? Долго мне ещё ждать?!» Но уж Нина-то Л. точно знала, что меню – это всего лишь невинный предлог для совместного ухода в нечто глубокое и невыразимое... Что имел в виду незнакомец, когда заказывал ягнячью ногу, шпигованную анчоусами, или свиной медальон в шампиньонах, или смоченное винным соусом кабанье седло? Это так романтично: примите, сударь, ваш медальон... Но – вот в чём весь ужас! – каждый второй, да чего уж там, каждый первый малодушно упускал свой шанс, предпочитая жевать и жевать. А в результате от пылких надежд, слопанных с простодушным чавканьем наспех либо, наоборот, поглощённых неспешно, с особым цинизмом, у Нины в трепетных руках оставались только жирные тарелки и оскорбительно мятые чаевые.

Трагическим исключением из общего правила стал киноартист (фамилию пропустим – её и так все знают), народный кумир, который вовсе ничего не ел, а только пил. Он выпил махом 0,5 литра дагестанского коньяка, начертал щедрый автограф: «Нинель я тебя низабуду!!!», а потом больно хватанул за грудь четвёртого размера, которого (размера) деликатная шуплая Нина всегда немного стеснялась. Кумир забыл уплатить за коньяк – и она расплатилась сама. Зато потом ей остро завидовала, читая автограф, Аня Д., некрасивая, но верная подруга мистического склада.

Аня Д. не совершала ни одного важного шага без участия звёзд. Всякий раз, чтобы сменить причёску, изменить мужу или переставить в квартире мебель, ей нужно было привлечь тонкие космические энергии и вдумчиво диагностировать карму. Однажды, гуляя с Ниной по магазинам, Аня Д. обратила внимание на моложавую попрошайку, чья бедственная ситуация, опубликованная на картонке, синхронно озвучивалась кротким напевом: «Мы сами не здешние... Мужа поставили на счётчик... У ребёнка глисты... Покушать ничего нету... Помогите, сколько не жалко!...»

– Ты слышала, как она сказала? – возбудилась Аня.

– Про глисты?

– Сама ты глисты! Она сказала: «мы нездешние»! Нина, как она глубоко права!...

Короче говоря, в том, что касается неземных вопросов, Аня Д. не имела себе равных. Её влиятельное мнение, кроме всего прочего, включало три железных постулата: 1) все мужчины суть малоразвитые сволочи; 2) им бы только межполовые контакты, а духовности никакой; 3) мужскую особь, целиком достойную Нины Л., природа ещё не создала.

... Помимо четвёртого размера груди Нина стеснялась также своего жилища – осыпающейся квартирке на нижнем этаже муниципальной шлакоблочной хибары с мокрицами и рваными трубами, которую городская власть в приступе заботы признала ремонту не подлежащей, на чём, собственно, забота иссякла. Днями квартиру заливало, а ночами на постель

Нины узорными хлопьями слетали фрагменты штукатурки. Купить новое жильё ей было не по силам, а искать варианты обмена даже в голову не приходило – кому охота жить с мокрицами?

По выходным дням Нина завивала сияющие локоны, с особой пикантностью подкрашивала глаза и губы, надевала всё самое новое – и вот в таком виде с утра до вечера сидела дома. В злачные и прочие развлекательные места её не тянуло, злачности хватало и на работе. А экстремальная нарядность, конечно, означала готовность номер один к встрече с ещё неизвестным избранником, который всё никак не являлся, но ведь мог же явиться в любую минуту.

Теперь, видимо, уже пора хотя бы вкратце рассказать о докторе Скабичевском, он же Костя Бидермайер, он же Вера Смирнова, он же Юра Гаприндашвили, он же Володя Т.

Мы были знакомы со студенческих времён, когда он ещё не стал душевнобольным, а только собирался им стать. Причины выдвигались такие – врождённый аристократический пацифизм и буквально биологическое нехотение служить в армии. Прежде чем пойти окончательно сдать в психбольницу на Агафуровские дачи, Володя Т. за бокалом рислинга пояснил друзьям и близким, что лучше быть легальным шизофреником, чем стрелять иноверцев или строить сортиры для генералов. Запомнилось ещё одно фирменное высказывание Кости Бидермайера: «Всегда быть равным самому себе – хуже только Хиросима!»

Вскоре он прислал мне из психушки письмо на двойном листке бумаги в клетку. «Дорогой Игорь! – писал он доверительно. – Здесь, в этом дивном заведении, со мной творятся странные вещи. Посуди сам. По ночам я сплю хорошо. Утром после выдачи лекарств и перед завтраком тоже удаётся вздремнуть. Нормально сплю и после завтрака. А вот после обеда – спать не могу!...» Внизу подпись: «Твоя Вера Смирнова».

Прошло не более трех дней после его выхода на волю – мы случайно столкнулись возле Дома кино. Никак не ответив на моё приветствие, он посмотрел испытующим взглядом, примерно как матёрый разведчик на матёрого контрразведчика, и тихо спросил: «У тебя брюки застёгнуты?» – «Естественно». – «Тебе хорошо. Завидую. У меня – нет». Под плащом не было видно, что там у него с брюками. «Так застегни!» – посоветовал я. «Ещё не научился. Пока только шнурки завязывать умею». – «А что случилось?» – «Фармацевтика, знаешь ли, страшная сила». На всякий случай я предложил свою посильную помощь. «Боже упаси!» – ответил он. На том и расстались.

Но, несмотря на все привходящие трудности, я могу уверенно заявить, что Володя Т. вышел из больницы со столь же ясным и трезвым рассудком, с каким в неё вошёл. А то, что несколько зим спустя его вдруг занесло в Школу Практической Уфологии, дислоцированную в Клубе имени А. Хичкока, объяснялось очень просто: Клуб славился приятным буфетом, где иногда подавали чешское пиво редкостной красоты. В ту самую субботу буфет, как нарочно, был закрыт, поэтому Володя из любопытства заглянул к практическим уфологам и сразу наткнулся на мистическую Аню Д.

– Вам кого, гражданин? – строго осведомилась Аня.

Находчивый гость вынужден был чистосердечно сознаться, что его уже два раза похищали пилоты НЛО и накануне вероятного третьего раза ему не помешал бы грамотный практик.

Аня Д. обожала специальные светские беседы.

– Позвольте узнать – с какой целью похищали?

– У них только одна цель. То есть две. Изучить и забеременеть.

Из Клуба они уехали вдвоём, фактически уже не разлей вода, и вдвоём же заявили в гости к Нине Л., которая по случаю выходного дня сидела дома приодетая и благоухающая.

– Познакомься. Это доктор Скабичевский.

Не то чтобы Нина особо нуждалась во врачебных услугах, скорее наоборот. Но в процессе чаепития, украшенного пылкими ватрушками с курагой, очень уместно вспомнилось, что третьего дня у Нины слегка ныло и даже похрустывало в шейном отделе – возможно, продуло на сквозняке, а уж этим никак нельзя было пренебречь. Тут сразу, конечно, затеялись контактные и бесконтактные манипуляции вокруг Нининой шеи, с беззащитной замшевой ямкой на затылке, с голыми, просвеченными кухонным абажуром косточками пониже. От раскалённых докторских пальцев нежный мороз убегал вниз между лопатками, и вот тогда новоявленный спец по массажу молвил фразу, которой суждено было стать решающей:

– У вас, Нина, карма изумительная! Но вот как-то с чакрами плоховато...

Насколько я знаю Костю Бидермайера, он мог это сказать только с ласковым ехидством или высокогуманной издёвкой. Однако фраза и сама ситуация произвели буквально пожизненный эффект. Мистическая подруга ещё успела вставить с авторитетным восторгом: «Да, да! Чакры у неё совсем никудышные!...» и что-то о нравственном и биополях. Но было уже поздно, или, как выражаются в народе, поздняя метаться. Потому что на кухне вдруг случилось такое нравственное притяжение двух физических тел и два малознакомых встречных биополя подняли такой ветер, что Аня Д. ощутила, будто её сдувает, как в аэродинамической трубе, и с возгласом «Не хулиганьте без меня!» срочно эвакуировалась домой.

А Володя, понятно, уже никуда не ушёл – ни завтра, ни послезавтра. Они с Ниной вообще не в силах были оторваться один от другого, особенно в первые сутки, даже, извините, чтобы сходить в туалет.

И вот таким образом Нина Л., ещё вчера невыносимо одинокая, встречает на жизненном пути сразу нескольких любимых людей, с которыми ей не суждено будет соскучиться. Володя Т. по собственной инициативе то и дело причиняет ей столько нежностей и страстностей, что хватило бы нескольким Нинам. Иногда ближе к утру, горячая, изнеможённая, как только что вскипевшее молоко, уходя под золотистую пенку сна, она секретничает слабым шёпотом с Верой Смирновой – рот в рот – о чисто женских глупостях. Молчаливый Скабичевский, живущий своей таинственной, закрытой жизнью, сам того не желая, интригует и влечёт Нину до явственного трепета бабочки в области диафрагмы. Костю Бидермайера она слушает обожающе, с полуоткрытым ртом и вряд ли когда-нибудь до конца поймёт. Но чтобы любить, не обязательно всё понимать. С Юрой Гаприндашвили интересно бить тарелки об пол, скоростно умирать от ревности и притворяться фригидной женщиной, угодившей в гарем султана. Володя зарабатывает деньги тяжким умственным трудом, Юра – лёгким физическим, а Скабичевский из принципа вообще пока ничего не зарабатывает. Через несколько лет Костя свозит Нину в любимую Венецию, Роттердам и Кёльн, а Володя Т. будет стрелять у неё десятки до возможной полочки. В целом же семейная жизнь окажется многослойной и увлекательной.

... Не реже двух раз в неделю к ним приходила Аня Д., бдительная, как народный контроль, и выражала свои горькие претензии – от общего к частному. Вы, ребята, опустились ниже некуда. До полного зоологического безобразия. Один писатель про вас уже открытым текстом написал: «Человеческое! Слишком человеческое!» В том смысле, что животное. Не вздумайте мне петь насчёт большой любви: фа-фа-фа, ля-ля-ля! Это с вашей стороны прозябание и похабное вырождение. Культурные люди в дневное время хоть иногда убирают постель. И что, вообще, на столе делает подушка?!

Освоив досконально практическую уфологию, Аня тут же открыла для себя новое духовное месторождение. Она пошла на двухмесячные курсы знаменитой Тамары Чепесюк. Реклама на заборных афишках была скромной, малоприметной, зато назывались курсы дерзко и технологично:

«МЕТОДИКА ИСПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ ЖЕЛАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ТАКОВЫХ».

– Желаний у нас очень много, – прокомментировал Костя Бидермайер. – А «таковых» со временем накопим.

– Цинизма не потерплю, – жёстко ответила Аня. По её мнению, гибнущей Нине были жизненно необходимы курсы Тамары Чепесюк.

– Сходи для прикола, потом расскажешь, – предложил Володя.

– Как скажешь, дорогой.

Для исполнения желаний в кинотеатр «Южный» пришли человек тридцать – только дамы разных возрастов. Зал почти не отапливался, из покрашенных ртов шёл пар, но Тамара Чепесюк вышла в декольтированном платье с блёстками.

– Сперва предадимся теории, – предупредила она.

Теория гласила, что наши желания не менее материальны, чем, допустим, запах парфюма, нервная система или целлюлит. А сильные желания могут сильно влиять на земное и околоземное пространство. Для этого их туда надо грамотно запускать, как ракеты типа «земля – воздух». И тогда то, что хочешь, неминуемо исполняется, даже если ты уже успел расхотеть. Поэтому хотеть надо с большой осторожностью.

Упоминание целлюлита немного воодушевило озябших слушательниц. А Тамара уже диктовала методику запуска желаний.

1. Спокойно, не торопясь, считаем от 1 до 100. Можно мысленно.

2. В том же темпе считаем от 100 до 1. Ни в коем случае не до нуля – обнулять нельзя!

3. Наконец, считаем от 1 до 5.

4. И вот тут – внимание! – мы берём своё зрелое, хорошо сформированное желание – и посылаем в пространство!

Чепесюк обеими руками сделала такое движение, будто вынула из живота арбуз и подкинула в небо сильным рывком.

Дамы, все как одна, зашевелились.

– Махать руками будете на аэробике! – одёрнула их Тамара.

Приступили к практическому занятию.

– Все мы желаем, чтобы в зале стало немного теплей. Давайте сообща поднимем здесь температуру на несколько градусов!...

После пяти минут гробовой тишины Нине показалось, что в «Южном» становится душновато. Во всяком случае, пар изо ртов больше не шёл. Возможно, многие перестали дышать.

За первый день учёбы Нина заплатила Чепесюк 50 долларов, а на следующие занятия не пошла, здраво рассудив, что практиковаться можно и дома.

Настроение было чудесное. С некоторых пор у Нины вообще всё было чудесно. Она даже почти извинила тех несчастных, которые посещали кафе только ради еды. Так что с желанием поначалу возникли трудности. Ей теперь хотелось одного – лишь бы всё оставалось так, как есть! Но тут в очередной раз её шлакоблочную хибарку затопило – и в этом была очевидная подсказка.

Раза три или четыре, обычно перед сном, Нина из любопытства принималась терпеливо считать до 100 и обратно, но благополучно засыпала где-то между 34 и 70, а утром не могла припомнить, состоялся ли запуск желания. К тому же Володя, лёжа на правом боку, имел привычку во сне складывать на Нину все свои тёплые левые конечности, что тоже влияло вполне усыпляюще. Правда, как-то днём на работе, в отсутствие клиентов, ей удалось дважды исполнить всю процедуру, вплоть до засылки в космос отчётливой картины с изоб-

ражением хорошенькой квартирki без признаков разрухи. «И поскорей бы уж!» – мысленно взмолилась Нина, обращаясь к невидимому божеству, одетому зачем-то в декольтированную тогу с блёстками. Это было перед самым Новым годом, а в аккурат восьмого января, вечером в дверь позвонили два мальчика-с-пальчика – с виду типичные гангстеры, в одинаковых норковых шапках и кожаных куртках – и начали талдычить что-то о реконструкции первого этажа под замечательную булочную, где круглые сутки будет продаваться не только водка, но и закуска. Подразумевалось, что нижних жильцов любезно расселят в окрестных районах.

– Это невозможно, – сказала Нина. – У нас же здесь мокрицы.

– Если жалко, заберите их с собой, – ответили ей. Но сразу пояснили: – Такая шутка юмора.

– Доплата? – спросил Скабичевский.

– Без доплаты.

– Старинный дом, памятник архитектуры – без доплаты?? – И сразу пояснил: – Такая шутка юмора.

К середине февраля они въехали в скромную, но приличную квартиру на третьем этаже кирпичной пятиэтажки возле Зелёной Рощи. Я бывал у них там в гостях и могу засвидетельствовать: более странной и счастливой парочки свет ещё не видывал.

Пока Нина варила кофе, я рискнул спросить о ближайших мистических планах. Она смущенно призналась, что теперь уже просто не знает – чего желать. Не запускать же в околосемное пространство образы кухонного гарнитура или нового дивана... Хотя Володя тут на днях обмолвился, что кое-какая сумма им бы сейчас не повредила. Ему видней.

– Тысяч сто, – добавил непритязательный Скабичевский.

Ровно через полгода мне позвонил приятель и сообщил траурную весть. Ушла из жизни троюродная тётя Кости Бидермайера, с которой, увы, он даже не был знаком, – фрау Б., 82-летняя вдова, проживавшая в городе Кёльне, Федеративная Республика Германия. Иностранной юридической коллегии потребовалось шесть месяцев, чтобы отыскать российского племянника, не прописанного по месту жительства, и уведомить его о понесённой утрате, а также о законном праве наследования 90 тысяч дойчмарок, согласно завещательному распоряжению фрау Б.

... Мы стали реже видаться. Время от времени до меня доходят разноречивые сведения. Нина с Костей уехали в Европу. Нет, уже вернулись. А теперь вот уезжают. Нина хочет расстаться с Юрой Гаприндашвили, потому что он якобы сильно склонен к изменам. А Юра, наоборот, расставаться не хочет, потому что ему якобы свойственна лебединая верность. Нина решает, рожать ли второго ребенка. А Володя говорит: конечно, рожай, но, может, сначала поженимся?

Самая недавняя встреча со Скабичевским случилась опять у Дома кино, где, помнится, однажды был беспорядок с брюками. И в этот раз он сообщил мне поразительные подробности о своём новом бизнесе.

Оказалось, он арендует студию с мощной звукозаписывающей техникой, но музыкантов не приглашает. По утрам включает аппаратуру с микрофонами на запись – в полной тишине, запирает студию и уходит до вечера.

– Ты пишешь тишину?

– Понимаешь, есть такое предположение, что умершие хотят нам кое-что сообщить. Но к нам очень трудно пробиться. А я им даю возможность свободно высказываться. Это эксперимент.

– Уже есть результаты?

– Конечно. На 10 часов тишины – примерно 20 минут речи.

– И что говорят?

– Извини. Пока не закончил – разглашать не могу!...

Мы не торопясь прошли полквартиры, выкурив по сигарете.

И у меня вдруг возникло сильное желание – прийти к нему в студию и свободно наговорить на его тайную плёнку несколько простых слов. Пользуясь тем, что мы пока ещё живы.

Принцип Шнайдера

– Теперь представь! – тихо говорит Шнайдер, волнуясь, как мальчик, и убирая со стола третью пустую банку из-под домашней «Изабеллы». – Что мне было делать? Февральская ночь. Сплошной Бискайский залив. Она меня ждёт – немедленно! – в Сан-Себастьяне. Если, конечно, ждёт... А мы имеем что? Мы имеем этот долбаный маяк на левом траверзе и оперативное время ноль-ноль двадцать. И я ушёл в лоцманскую ни живой ни мёртвый. Потому что я любил её, как примерно сорок тысяч братьев – и то любить не могут!... Пойми!...

Мощным усилием Шнайдер удерживает в глазах крупные слёзы, и я не знаю, как ему помочь.

Насколько мне известно, Гена Шнайдер никогда не бывал за границами нашей родины. По тем бдительным временам его бы никто и не выпустил. Тем более что за тридцать пять лет своей поразительной жизни он сумел ни разу не вступить в официальные отношения с государством.

Самые достоверные этапы загадочного творческого пути Гены Шнайдера включают попытку дешифровать разговорную речь древних шумеров и прямое участие в раскопках городов Херсонеса и Ольвии на правах вольнонаёмного землекопа.

Его единственный дошедший до нас поэтический опус, на мой взгляд, достоин сохранения в культурных анналах эпохи. Публикую здесь полный текст:

Эх, туманы-растуманы,
Дождик проливной...
Мой пиджак, во-первых, рваный.
Во-вторых, не мой.

Вряд ли будет ошибкой сказать, что с точки зрения моральной, интеллектуальной и практической Гена Шнайдер был чистый идиот. Не в том смысле, который создаёт классическую клинику врождённого слабоумия. А в том, из которого, как жемчуг в сопливой ранке моллюска, произрастает беспримесная гениальность.

В это трудно поверить, но в худощавом двухметровом организме Шнайдера напрочь отсутствовал орган страха. Он не боялся ничего и никогда. За этим не стояло ни тени какой-то сверхъестественной отваги или пресловутого «безумства храбрых». По моим наблюдениям, Гена просто не понимал – чего, вообще, следует бояться?

Когда один из пылких дегустаторов самопальной «Изабеллы» (дело было в Крыму, где Шнайдер явился на свет и провёл наибольшую часть жизни) на исходе шестой или седьмой банки однажды молвил с героическим пафосом: «Альпинизм, Гена! Сейчас дико актуален альпинизм!», Шнайдер выпрямил сутуловатую спину и спросил: «Когда идём – сегодня или завтра?»

При первом восхождении, осуществлённом без минимальной тренировки по маршруту высшей категории сложности, Гена сорвался с восьмиметровой высоты и сломал себе мизинец на левой ноге.

Это происшествие – вполне банальное в шнайдеровской системе координат – говорит опять же не о каком-то безумном мужестве, а скорее о характерном для Гены параличе воли, то есть даже полном и безболезненном её отсутствии, которое, возможно, и было для него реальной свободой.

Он ничего не добивался и не урезал свой горизонт никаким выбором. Не он обычно выбирал, а его – любопытствующие леди (из приезжих) и вечно жаждущие дегустаторы (из

местных). Причем выбирали с прогулочной лёгкостью, потому что среди курортных роскошеств крымского пейзажа Шнайдер являл собой нечто вроде вереска при дороге: бери, если нравится, веточку – и уноси куда хочешь.

Я видел, как после одной креплёной, высокоградусной ночи Шнайдер спал на тихом сентябрьском пляже, по-детски откинув тяжёлую красную руку землекопа, и ему на тощее плечо, как на вересковый куст, легко и безбоязненно села трясогузка.

Между тем принципиальное шнайдеровское безволие не отменяло совершения поступков. В том-то и фокус, что совершал он их непрерывно. И, независимо от мотивов – будь то нетрезвая придурь закадычных дегустаторов или прихоть залётной очаровательницы, – буквально всё, что делал в своей жизни Гена Шнайдер, по меркам обыденного сознания было абсолютно бесполезно – и абсолютно потрясающе.

Я приведу лишь один случай, о котором долгое время нельзя было рассказывать, поскольку эта типичная для Шнайдера история плохо сочетается не только со здравым обывательским смыслом, но и как минимум с двумя жутковатыми статьями Уголовного кодекса. Стало можно – после того как в тридцать шестую свою зиму Гена без предупреждения ушёл в такую отчаянную отлучку, в такую самоволку, что с ходу стал недосягаем для всех земных кодексов.

В Старом Крыму проживала Вдова Писателя, совсем уже на краю жизни, одна из тех великих нищих вдов, кому довелось перетерпеть вторую или даже третью серию убийственно справедливого советского кино – за себя и за своих гениальных мужей, которых успели смести с экрана, как мусор, ещё в первой серии.

Почти беззвучное мнение этих недолюбленных старух, уже измеряемое в каратах, публиковалось по обе стороны океана, разрешало коллизии высоких умов Кембриджа и Принстона, в то время как сами подательницы мнений молча бились над проблемой последних рваных тапок и вчерашнего полупустого супа.

Вдова обитала в том же домике, где некогда жил её знаменитый супруг, спала на той же коечке, сидела на тех же стульях, латала всё те же дыры... Иногда туда самочинно прибывали загорелые туристы, чья сытость не вполне ублажалась фруктами и шашлыками. И тогда Вдова – утонченная сладостная грёза Артура Грэя – выходила им навстречу, одёргивала заскорузлыми ручонками свой стыдный передник и терпеливо пережидала – когда уже, наконец, уйдут.

Кого-то якобы интриговало: откуда начинается «дорога никуда»? Кто-то, с долей романтической рисовки, остроумно интересовался, как добраться до Лисса и Зурбагана... И никому, понятно, не приходило в голову осведомиться о низменных, копеечных нуждах старухи. В голову пришло Гене Шнайдеру, который в складчину с испытными дегустаторами регулярно, без спроса, подкармливал Вдову. Точно так же, без спроса, они приволокли однажды в её жилище настоящий средневековый якорь, добытый явно не на суше, и оставили со словами: «Обязательно в хозяйстве пригодится!»

Вдова боялась лишиться своего дома. Но никто, к счастью, эту будку не сжёг и не отнял, хотя местные власти относились к Вдове откровенно плохо. Она была пожизненно виновата в том, что сумела выжить в занятом немцами Крыму и, согласно официальной версии, с этой гнусной целью сотрудничала с оккупантами. Спасаясь от голодухи и, видимо, не умея четко отличить один людоедский режим от другого, Вдова мыла полы в немецкой комендатуре. С тех пор за ней сохранилась репутация «полицайки» и не сохранилось никаких прав.

Вдова, к слову сказать, и не претендовала ни на одно из пресловутых прав, а мечтала только об одном – чтобы, когда она умрёт, её похоронили рядом с мужем. Разумеется, этого делать никто не собирался, потому что могила Писателя, извините, литературно-исторический памятник, охраняемый государством. А старуха, как уже было доказано, полицайка, доживающая на птичьих правах.

Но в каком-то смысле она даже чувствовала себя счастливей и богаче других великих вдов – их-то мужья остались вовсе без могил, уйдя в каменные мешки, в лагерные известковые ямы. А её парусному принцу повезло: он умер сам, незадолго до плановых казней крупным оптом, и благополучно был отсортирован к разряду безобидных романтиков. Так что ей было куда носить почти стародевичьи букетики и мечтать лечь самой.

Когда настал её срок, Вдову похоронили без речей и без духовых инструментов на старом феодосийском кладбище – само собой, в приличном отдалении от Писателя, то есть вообще в соседнем городе.

И вот тут наступают часы ужаса. Из непоправимо чёрной ночи, ближайшей после похорон, к могиле бесшумно подходят фантомы, вооружённые заступами. И один из них – почти двухметровый, сутуловатый – низким голосом, вызывающим содрогание, отдаёт тихие уверенные распоряжения опытного землекопа... Через час они приводят в порядок уже пустую могилу. И ещё несколько часов, леденящих душу, им потребуется, чтобы доставить обтянутый сатином гроб на запретное законное место, с хирургической опрятностью вскрыть могилу классика и дать повстречаться праху с прахом.

С наступлением утра потрясённый литературно-исторический памятник выглядел точно так же, как и днём раньше.

Мне знакомы люди, ставшие авторами рискованных, высоких, ошеломительных поступков главным образом для того, чтобы затем проболтаться о них всему миру. Описанное выше деяние, совершенно типичное для Шнайдера, как я уже сказал, тщеславной огласке не подлежало и не служило никаким «внешним» целям. Оно лишь утоляло некую подсознательную жажду, подразумевая заведомо нелегальный принцип «внутренней» божеской справедливости, до которой в мире никому нет дела.

В своём кладбищенском преступлении Гена сознался только одному человеку, знобко напрягая плечи и пряча глаза куда-то в область нагрудного кармана. Этим единственным человеком была Лина.

До появления Лины мы видели уникальный пример ненарушимой, кристальной самодостаточности. Шнайдер мог служить наглядным пособием для выявления минимальных значений «потребительской корзины». Загадочная библейская декларация о том, что «нищие духом блаженны», казалась мне пышным преувеличением, пока я не узнал Гену Шнайдера. Его суверенность не нуждалась в специальных усилиях, душевных либо телесных, и брезговала достижением целей как потной принудителкой.

Для ежеминутного счастья и для прокорма – на всё про всё – ему с избытком хватало текущих обстоятельств, чистой длительности жизни и ненаглядного крымского пейзажа. Внутри этого пейзажа он и представлял перед изумрудным взором Лины (курортницы, породистой столичной птицы) то богоподобным Одиссеем, ступающим по линии прибора с непросыхающими вёслами на раскалённом плече, то просто главным богом античности с верховной волей и чреслами чудовищной силы.

Лина снимала, роняя на гладкую гальку, прозрачный сарафан из марлёвки, французские босоножки, новенький купальник, фамильные кольца-серёжки, чтобы остаться нетронуто первобытной, и протягивала себя голую – как маленькую ладонь – в шершавые, будто кирпичи, лапы античного Шнайдера. Он никогда ещё не бывал таким громадным, как рядом с Линой, играющей в кусачую рыбку-прилипалу (укус горел чуть ниже соска), и даже слышал собственный стон, когда, казалось, не мог уместиться в ней, со своей огромностью, но каким-то чудом всё же умещался.

И так получалось, что Лина стала для Шнайдера больше, чем желанной женщиной, заместив собой, своим жаром и влажностью, само понятие женщины как таковой. То есть, к примеру, если груди у Лины были маленькие, слабые и нежно плавилась, как сливочное масло, под громоздкими касаниями, то, значит, именно такими женские груди и должны

быть. И если после близости она выкуривала две сигареты, одну за другой, то, стало быть, женщина – существо курящее.

И с какого-то момента на суверенности можно было поставить жирный крест. Даже два. Какая уж тут независимость, какая чистая длительность жизни, если поминутно больно бухает что-то в районе диафрагмы, а за каждой подробностью пейзажа кроется смертная тоска по улетевшей в столицу Лине?... То-то и оно, что сплошная, тотальная зависимость. Или, говоря языком того же Гены, сплошной Бискайский залив.

Шнайдер прибыл в Москву симферопольским поездом с какой-то странной тёткинской кошёлкой и, пока добирался до Лины, обошёл пешком полгорода. Потому что невзначай спутал Сокольники со станцией метро «Сокол» – какая, собственно, разница?

У себя дома Лина оказалась Эвелиной Александровной – владелицей большой, но тесной квартиры с громадным количеством малополезных вещей, вроде вольтеровских кресел и старинного китайского фарфора; со строгим отцом, с кудрявым маленьким сыном, с голосистым телефоном, с вазами, гравюрами, книгами, умными гостями, пьющими коньяк; с ванной, кафелем, зеркалами, благоухающими удобствами, шёлковыми шторами, коврами и далее по списку.

Первые полчаса Гена по-вокзальному не выпускал из рук свою кошёлку. Потом на вопрос отца хозяйки «Что вы думаете о тихоокеанской перспективе?» Шнайдер ответил: «Она удручает». И, поразмыслив, добавил: «Но внушает надежду». Потом его оседлал, как дромадера, кудрявый мальчик Вениамин, и это стало поводом для бедуинских скачек с очевидным убытком антикварной посуды.

Ещё в прихожей Гена успел сообщить Лине, что приехал «быть рядом», потому что «не рядом» он натурально погибает. В связи с этим на кухне срочно был собран военный совет с умными пьющими гостями. И пока мальчик Вениамин на верблюде носился по квартире, приятели и поклонники Лины решали глобальный вопрос: что делать со Шнайдером – без московской прописки, без жилья, без профессии, без одного переднего зуба...

Здесь надо заявить откровенно: ничего похожего на шнайдеровские чувства Эвелина Александровна не испытывала. Зато она точно понимала – столь редкий, штучный экземпляр, как Гена, надо беречь, голубить и вносить в Красную книгу человечества. И если такой экземпляр сам признаётся, что гибнет, то это вам не дежурный интеллигентский насморк. Тут надо действовать.

В результате приняли решение – «поступить» Гену в университет. Работа у Лины была таинственной и надомной. Поэтому она имела возможность по ночам на кухне вкратце начитывать Шнайдеру гуманитарные дисциплины, неизбежные при поступлении.

Она запомнит эту картину: Шнайдер в портативной позе сидит на полу (он так предпочитал), у батареи отопления, обняв огромными верхними конечностями огромные нижние, и слушает с полуоткрытым ртом историю своего Отечества вперемежку с модальными английскими глаголами и анализом шедевров родной литературы. Время от времени он наклоняется и протягивает бесконечную руку в другой конец кухни, чтобы огладить коленку обожаемого педагога Эвелины Александровны. Спать они ложились под утро в педагогическую постель, а чуть позже Гена сползал на пол, на конспиративную холостяцкую подстилку...

Что и как успело запечатлеться в шнайдеровской голове – страшная тайна природы. Ранним августовским утром, уходя писать вступительное сочинение, Гена с ботинком в руках отчаянно крикнул из прихожей: «Линочка! Напомни, пожалуйста! Что там с Анной Карениной?! Ах, да! Под поезд, под поезд...»

Когда стало ясно, что Гена всё же не сыплется на экзаменах, но сдаёт всё на круглые тройки, был снова немедленно созван военный совет, где лучшие умы, воодушевленные коньяком и нажимом Лины, подтвердили своё прежнее решение – сделать из Шнайдера

легального студента с пропиской. Были прощупаны министерские контакты. Включена правительственная связь. Из-за периода отпусков пришлось поднимать в воздух дальнюю авиацию. Перед нанесением стратегических визитов Лина обматывала вокруг шеи фамильные жемчуга и надевала своё лучшее бельё.

Наконец, всеми правдами и неправдами, как последний шар в неудобную лузу, Шнайдера вогнали в число студентов, и он начал учиться.

Та беспричинная горячая симпатия, которую невольно возбуждал в преподавательском составе Гена Шнайдер, позволила ему продержаться в университете более трёх лет. Оценку «удовлетворительно» ему ставили фактически ни за что – он странным образом «удовлетворял» и восхищал всех, кто вступал с ним в контакт: декана факультета, бомжа на трамвайной остановке или сотрудника вытрезвителя. На четвёртом курсе Гена вдруг бросил университет, как было сказано в его заявлении, «по личной причине».

Об этой личной причине по имени Катя уже задним числом мне поведала наша общая с Линой знакомая – особа изысканной светскости и пугающего человеколюбия:

– Геннадий, конечно, интересный мужчина. Но беспородный. Хотя, прямо скажем, сексапильный. Ну о-очень замечательный милашка! Вот. Но засранец. Как все мужчины, кстати. Потому что Эвелина – просто золото, вот просто золото! Несмотря на то что дура. А от таких шикарных женщин, я извиняюсь, во всякие развратные притоны не уходят! Значит, он сам такой. А эта, с позволения сказать, Катя, самосейка, вот на этих оргиях лежала пьяная – при всех! – с во-о-от такими дырами на колготках! Я, конечно, извиняюсь.

Из дальнейших пояснений следовало, что Катя, достигшая нижайших степеней падения, случайно положила свой распутный глаз на Шнайдера и вдруг увидела в нём реальный шанс реабилитировать себя законным браком, чтобы стать за его счет порядочной женщиной. Звучало так, будто она просто-напросто забрала Гену из университета и увезла – в Крым, к его маме, знакомиться в роли невесты.

И если во всём рассказанном была хотя бы минутная правда, то она касалась того самого безволия – когда каждый, кто хочет, берёт себе ветку и несёт куда хочет...

Целый год не было новостей. Лишь доходили привычные слухи о том, что Гена откуда-то снова упал или что-то неправильно выпил...

Я выбрался в Крым через год в недельный отпуск. В аэропорту встречали шнайдеровские приятели – из числа дегустаторов. «А где Гена?» – «Ушёл за цветами». – «За какими цветами? Зачем?» – «Он сказал, самолёты встречают с цветами...»

Приехали в старый дом на окраине дикого пляжа. Незнакомые мне подруги и жёны собирали на стол – овечий сыр, помидоры, вареное мясо, графины и банки с домашним вином. Шнайдер всё не появлялся. Может, где-то утонул в цветах. Море шумело тяжело и отрешённо, занятое своим глубоководным делом. Напротив меня сидела миловидная молодая мать, мадонна с младенчиком, такая же отрешённая, как море.

Сели за стол, не дожидаясь Гены. Вино было мягким и настойчивым. Уже вечерело. Казалось, что раздавленная виноградная лоза, вмешиваясь в кровь, медленно встаёт и распрямляется. Как-то чудно менялась оптика, хотя не происходило ничего. Застолье тянулось плавно. Молодая мама напротив сидела всё такая же тихая, немного отдельно от всех. Я вдруг увидел её снова – и у меня сбилось дыхание.

Назвать её прекрасной значило бы отказать в этом слишком многим. Она была удивительной. Мягкие бледные губы, прозрачный взгляд. Матовая нежная гладкость, не тронутая краской. Высокая линия шеи, девчочковые ключицы, молочная тяжесть груди. Почти животные тишина и кротость. Я позволил себе вообразить того сумасшедшего счастливец (едва ли не самого себя), который бросит всё и останется здесь, на краю дикого пляжа, ради этой «отдельной», неприкаянной женщины с младенцем.

Наконец явился Шнайдер с метровой метёлкой лаванды, обнял и расцеловал всех по очереди, как после долголетнего плавания, и уселся рядом с «мадонной». Тут выяснилось, что женщину зовут Катя, а сумасшедшего счастливица – Гена.

Ближе к ночи пронзительно раскричались цикады. Кто-то из гостей вполголоса, как бы сам для себя, читал Мандельштама:

Золотистого мёда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
«Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем», – и через плечо поглядела.
... Ну а в комнате, белой, как прялка, стоит тишина,
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала,
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, —
Не Елена – другая, – как долго она вышивала?...

«Почему другая? – неожиданно спросил Шнайдер с откровенной горестью. – Почему другая??»

В начале зимы Катя позвонила Лине в Москву, чтобы сообщить: около Феодосии на пустом шоссе Гену сбил большегрузный самосвал со щебёнкой, сшиб насмерть.

Я не видел Шнайдера мёртвым. И мне по силам только представить, как после креплёной, высокоградусной ночи он спит на утреннем пляже, и ему на плечо опускается птица. Как на ничейный куст – легко и безбоязненно.

Бахчисарайская роза

В том сентябре в горячем пыльном Крыму я был одинок и свободен как никогда. Можно даже сказать – был абсолютно счастлив, если бы этот рыжий придурок (ревнивец, маньяк или кем-то нанятый костолом – пойдй угадай!) не охотился за мной по всему Югу. Наконец мне надоела роль травимой дичи, и, нарушая всякую логику, я уехал в знаменитый городок, соблазнительный и доступный, как розово-смуглый виноград на любой автобусной стоянке. В сумке у меня лежал запелёнатый в пляжное полотенце «макаров», который я купил на предпоследние деньги у подозрительного типа на мысе Фиолент и которым, честно говоря, пользоваться не умел.

Городок назывался Бахчисарай и ничуть не был похож на своё пышное татарское имя. Он едва балансировал на щербатой древней земле, на её подъёмах и спусках, ухитряясь держаться на весу провинциальный покой. Уютные мужики в семейных трусах и майках играли в домино за столом, перегородившим улочку, словно это коммунальный коридор. В тёплой пыли купались шенки-самосейки. От приземистого жилья текли запахи супа и старых матрасов. Легендарного ханского дворца с минаретами не предвиделось вовсе. Откуда им тут взяться?

Но уже через пару кварталов, на очередном горбатом подъёме, минареты взмыли, как брошенные в небо копья, а затем плавно, по-восточному несуетно встал сам дворец хана.

Чем это место уж так влечёт? Только ли тем, что в восемьсот двадцатом году здесь провёл час-другой самый прекрасный русский гений, правнук эфиопа? Его терзала лихорадка и бестолковая юность. Всё было неправильно – всё «не как у людей». Ежечасный порыв то к новой любви, то к пальбе из дуэльных «лепажей». Его, раздражённого, почти насильно затащили сюда – смотреть на что? На развалины гарема и ржавую трубку фонтана? Да пропади оно... Почему же потом – столько волнения в стихах и пылкая тоска по «неизъяснимой прелести» Бахчисарая? Вот именно, неизъяснимой.

... Фонтан стоял на том же месте, где и всегда. Он оказался маленьким, застенчивым – полная противоположность высокопарному золочённому хороводу печально известной Дружбы народов с Выставки достижений. Он никогда не шумел и не бил, как подобает фонтанам, – только источал и слезился. Беззащитно голый, нежный мрамор тихо стерпел касание ладони: не прикоснуться к нему было невозможно.

Женщина-гид явно хотела моего сострадания к страшной участи ханских наложниц: погибали от скуки, ничему не учились, не имели полезных профессий. Ближе к старости (очевидно, годам к тридцати!) их выгоняли из гарема, и вот прямо в таком виде – без всякой профессиональной подготовки – они оказывались на улице. Я представил, как томные одалиски в своих шёлковых шароварах безутешно бредут по дороге навстречу запахам супа и старых матрасов.

Я вышел в придворцовый сад, не догадываясь о потрясении, которое меня там ждёт. В саду блистало высокое собрание розовых кустов. Розы робели и высокомерничали, бледнели и пылали. Они тянули шеи, вскидывали головы и взирали на меня с таким видом, что хотелось отвесить поклон и хотя бы минимально соответствовать... Этот сад буквально безумствовал, поглощённый, замороженный собственным густейшим ароматом и сверхсрочным ожиданием чего-то невозможного.

Я был совершенно один, и мне было плевать, как я выгляжу со стороны. Хотя, с учётом пистолета в полупустой сумке, легко было сойти за чокнутого киллера. Я прислонился лицом к тяжёлым розовым головам и дышал настолько полно, будто в последний раз проживал свою последнюю жизнь. То, что проникало в ноздри, по сладости и густоте превос-

ходило мёд и вино. Разгромленное обоняние вскоре сдалось на милость победителя – нюх отключился, я покидал очередной куст ради следующего, уже ничего не чувствуя.

И тут я вздрогнул, как будто меня громко позвали. Вокруг не было ни души, но что-то случилось. Я стоял у затенённой грядки над маленькой запёкшейся розой и не мог сдвинуться с места. Что, собственно, произошло? Меня остановил мощный, пронзительный запах тёмного, почти чёрного цветка, и уже через минуту я понял: так просто мне от него не уйти.

Сказать, что запах притягивал, – не сказать ничего. Он принуждал расстаться с собой, как с лишней вещью, и раствориться в нём. Он диктовал мгновенную безоговорочную зависимость, с которой надо было что-то делать. Я мог сорвать свою находку, присвоить и унести отсюда, но вряд ли я бы смог спасти аромат. Расстаться с ним было непосильно.

И тогда мне в голову пришло классически ясное решение: попытаться назвать этот запах, как можно точнее определить его с помощью слов – и только так сохранить для себя. Он был смешанный, многослойный. «Во-первых, явно лимонный», – сказал я себе, начиная с очевидного. Но это было проще всего. Более глубокие слои не желали подчиняться словам. Проклиная свою косноязычность, я наконец родил корявую формулу: что-то вроде «запаха близкой кончины». В ней отсутствовала полная точность, но на большее меня не хватило.

Теперь мне надо было хоть на ком-то проверить полученный результат... С трудом оторвавшись от чёртовой грядки, я обогнул кусты и вышел на садовую аллею. Я увидел её почти сразу – женщину средних лет в тёмно-синем платье на пустой скамейке. Неяркое лицо, голые тонкие руки без колец, пепельный узел волос. Глядя прямо перед собой, она курила крепкую сигарету без фильтра и не проявляла ни малейшего интереса к музейным красотам.

На мою просьбу, вполне дурацкую («Не согласитесь ли вы пойти посмотреть – вон там – одну розу? Мне нужно понять запах...»), она ответила лёгким пожатием плеч. Потом загасила сигарету, встала и пошла вслед за мной. Трезвое равнодушие моей спутницы, её простота и непринужденность внушали доверие.

Она стояла, склонившись над розой, всего один момент, затем выпрямилась и подняла на меня глаза, всё так же спокойно и серьёзно. Я не скрывал нетерпенья.

– Вы уловили? Чем она, по-вашему, пахнет?

– Эта роза пахнет лимоном, Испанией и смертью.

Повернулась и пошла назад к своей скамье. Дескать, мало ли что чем пахнет?

Она сама окликнула меня, когда я уже уходил.

– Вы хотите кого-то убить? – спросила эта женщина.

– Нет. Скорее, меня.

– Вам-то нечего бояться. Вам ещё...

И она назвала дату, спрятанную в следующем веке и обдавшую меня острым холодом, словно лёд, брошенный за воротник. Дату, которую лучше не знать.

... Меня укачивало на душных автобусных перегонах, и я просыпался, чуть не расшибая висок об оконное стекло, за которым в жирной южной темени проносились невозвратные огни. Под утро сон ушёл, и я снова подумал о правнучке эфиопа, о том, как он покидал навсегда Крым, влюблённый в одну из самых красивых и знатных женщин России. Мать семейства, жена блестящего вельможи, одарившая взаимностью ссыльного бесправного юнца. Невозможная страсть, которая внезапно осознала себя возможной.

В караван-сарай симферопольского аэропорта копилось и готовилось к отправке на все четыре стороны необозримое количество полузадушенных фруктов и драгоценного нестойкого загара. Я вдруг поймал себя на том, что напряжённо высматриваю среди пассажиров того рыжего типа с пятнистым лицом, и сам удивился – мы словно поменялись ролями. Теперь я его ищу? На кой ляд он мне сдался? Мы больше не увидимся, и дай бог нам скорее забыть друг о друге.

За двадцать минут до начала регистрации билетов я вошёл в близлежащее кафе, где не то что нормально поесть, но и дышать было трудно, зато имелся туалет, где можно было закрыться в кабинке на полминуты – достаточно, чтобы вынуть из сумки, распеленать и утопить пистолет в потоке ржавой воды.

... Первые полчаса полёта ереванец Левон из соседнего кресла показывал мне, как устроен его замечательный черешневый кларнет, и даже позволил извлечь из кларнета две вопросительные фразы. Затем Левон припомнил некую жуткую Тамару, презревшую лучший в мире армянский коньяк. Он достал из кармана фляжку и глянул на меня с горестным подозрением – вдруг мне взбредёт в голову Тамару поддержать? Мне не взбрело. Мы оспорили Тамару не менее трёх раз подряд, после чего Левон стал подстрекать к нелегальному курению в хвостовом отсеке. Если бы не он, то подстрекать пришлось бы мне. Сделав невозмутимые лица, мы отправились на место преступления.

Большинство пассажиров спали. Читатель «Спид-Инфо» в предпоследнем ряду второго салона резко опустил газету, и я увидел рыжую пятнистую морду своего преследователя. Когда наши взгляды столкнулись, его глаза были белыми от страха.

Непорочное зачатие

Чиндяев, сколько его помню, мне всегда виделся недотёпой, такой стынувшей манной кашей... Он не умел и, кажется, боялся выбирать. Потому что любой, самый мелкий выбор – это всё же предпочтение чего-то одного и одновременный отказ от остального. А у Чиндяева даже вопрос «Тебе чай или кофе?» вызывал минутное замешательство. Он мямлил: «Чай, – и, ещё помолчав: – То есть кофе».

Девушки и женщины шли рассеянными косяками даже не мимо юного Чиндяева, а сквозь него – настолько не замечали. И почему он вдруг, при всей нерешительности, выбрал профессию врача-гинеколога, какую шутку тут сыграло «мужское-женское» – судить не берусь. Пусть фрейдисты и психоаналитики сами жуют свои ароматные булки.

Когда я гостил у Чиндяева в маленьком городе Оренбургской области, в его холостяцкой хрущёвке, он уже был разведён – нестарая старая дева из регистратуры в чиндяевской больничке-поликлинике решила сходить замуж, чтобы родить законно. (С потомством не получалось, оба заняли глухую оборону, а через полгода в загсе Чиндяев так сформулировал причину развода: «Она уж больно часто спрашивает – не успеваю отвечать...»)

Я избывал два пустых дня – остаток ненужной командировки, полёживая на чиндяевском диване с романом Генри Джеймса, а вечером хозяин угощал меня какой-то самопальной настойкой и, в час по чайной ложке, докладывал о своей службе: «Вот... Приём веду... Тёток принимаю... А то, бывает, по три аборта в день... Хочешь мою работу посмотреть?» Я не успел ответить «нет», потому что он вдруг засмеялся: «А-а-а... Боишься?» И моё запоздалое «нет» теперь означало только, что не боюсь. Чего там бояться-то?... А наутро получилось так, что мы с Чиндяевым в одинаковых белых хламидах и колпаках, подначивая друг друга обращениями «коллега!», вместо лёгкой медицинской экскурсии въехали с ходу в неопрятную трагедию семнадцатилетней дурочки с восьмимесячным животом, пытавшейся вернуть себе стройность посредством домашней аптечки. Плод, почти зрелый, она угробила, но выкинуть не смогла, и теперь её собственная участь решалась в несколько десятков минут моим вчерашним собутыльником и медсестричкой деревенского вида, взиравшей на Чиндяева из-под марлевой маски как рабыня на боготворимого фараона. Скажу справедливости ради, Чиндяев себя вёл безупречно. Он действовал быстро и наверняка, извлекая по частям, можно сказать, из живой могилы этого никому не нужного младенца, эту новорожденную гибель. Пока я бесполезно, будто в ступоре, стерёг вскинутую до небес голую ногу пациентки с облупленным алым лаком на ногтях, Чиндяев замещал Господа, и ему это удалось.

На обратном пути из больницы к нам пристала торговка с блошиного рынка, пожелавшая всучить именно Чиндяеву странный свитер колбасного цвета по несъедобной цене. Уже и после насильственной примерки (свитер был длинный и безнадежно тесный), и после моих тонких намёков («Спасибо, отличное платье! Вот только похудеем и накопим денег...»), мой спутник продолжал топтаться на месте, не решаясь твёрдо отказаться. Ясно было: Чиндяев неисправим.

... И вот к такому человеку пришла на приём прелестная женщина, уже не очень молодая, со стыдной, уму непостижимой тайной, которую некому доверить.

Пока она за ширмой снимала одежду, затем взбиралась на «пыточное» кресло, Чиндяев сидел, уставясь в бумаги. Потом мыл руки, натягивал перчатки. Это был такой служебный принцип: ноль эмоций, ничего личного, взглядами не терзать. И всё же в его отношении к пациенткам нечто физическое присутствовало. Чиндяев мне как-то признался: он первым делом замечает запахи, не в силах не замечать. Можно целый справочник составить – чем они пахнут. Дынями, простоквашей, сыром, свежей речной рыбой, водорослями, рассолом, марганцовкой, одеколоном, прошлогодними листьями, тальком, сеном, чаем, халвой, пот-

ной синтетикой, мылом, фруктами, бросовой кровью... Эта женщина пахла изумительной чистотой. Он вдруг почувствовал себя слишком грубым по сравнению с её обнажённостью.

Впрочем, сложностей не наблюдалось. Два-три дежурных вопроса и короткий осмотр – достаточно, чтобы сообщить: «Нормальная беременность, восемь недель». Он сбросил перчатки и вернулся к своему столу. «Я и сама вижу...» – тихо сказала пациентка М. Н., полных лет 42, регулы с 11 лет, не замужем, один ребёнок, патологии не наблюдаются, аборт не было. Она уже одевалась.

Садясь на край стула, М. Н. повторила:

– Я и сама всё знаю. Но этого не может быть!

Врач, скучая, подумал об очереди в коридоре.

– Направление на аборт выписываем? – спросил он сухо.

– Поймите!... Я не могла забеременеть. У меня никого нет.

Он слушал с вежливым раздражением.

Без малого четыре года – вдова. Сын уже взрослый, студент. После того как не стало мужа, ни с кем не встречалась. «Ни с кем, – на одной жалкой ноте нудила М. Н., – ни с кем... Просто никто не нравился!»

С тем же успехом она могла излагать биографию девы Марии. Или прогноз погоды на позавчера.

– Слушайте, – не выдержал Чиндяев. – При чём здесь?... Вы же взрослый человек... Зачем так уж оправдываться? Никто не спрашивает о вашей личной жизни. Меня, например, это вообще не касается!

Она закрыла руками лицо – и молча заплакала.

И вдруг он поверил ей. Он поверил. Возможно, потому что сам был одинок, и ценил свою неухоженную свободу, и слишком хорошо знал эти бесконечные ночи на растерзанном диване, ночи молодого мужчины без женщины. И пусть кто-нибудь – при такой-то жизни – попробует сочинить ему отцовство!...

«Подождите!» – бросил он ей вслед, в уходящую спину. Она будто споткнулась, обернувшись. И вот этот размытый невидящий взгляд, как у поруганной школьницы, замершей на пороге учительской в просительной позе, кажется, и определил участь Чиндяева, и самой М. Н., и ещё как минимум двух живых существ. Так, всякий раз окликая уходящего навсегда человека, или вставляя ключ в замочную скважину, или просто задевая ладонью молчаливый предмет, мы будто подключаем к высоковольтной сети столь долгую цепь обстоятельств, таинственных и простых, приводим в действие настолько протяжённый механизм, что даже со скоростью мысли нам не догнать, не осилить последствий.

Он попросил М. Н. прийти еще раз, в удобное время. Пообещал: «Мы что-нибудь решим!», абсолютно не представляя, что тут, собственно, можно решить... Напоследок (скорей, для очистки совести) снова задал вопрос про аборт. «Как же я смогу, – недоумённо проговорила М. Н., – если я даже не знаю – КТО это?...»

В конце дня Чиндяев позвонил давнему знакомцу Шерману и сказал максимально небрежно: «Тут сегодня ко мне одна тётка приходила, с проблемой... Но, по-моему, это твоя клиентура». Шерман служил в уголовном розыске. Соблазненный со школьных лет изысканными проникающими талантами книжных сыщиков, он теперь вынужден был проникать в трясину бытовых разборок и прочей кухонной поножовщины. «Только знаешь... – Чиндяев спохватился, подумав, что как бы «сдаёт» М. Н. в милицию. – Постарайся поделикатнее... Сам понимаешь, город маленький». – «Присылай. Чего уж там! – меланхолично ответил Шерман. – В худшем случае, с тебя коньяк». – «А в лучшем случае – с тебя».

Когда М. Н. снова явилась, он не рискнул просто отправить её по адресу и сам отвёл в контору к Шерману – всего-то за два квартала. М. Н. тихо благоухала чистотой, глядела с надеждой. «Всё будет хорошо», – заверил её доктор Чиндяев и ушёл.

И вот начался его телефонный роман-детектив с Шерманом – по поводу М. Н.

– Ну ты мне подложил ребус, – бурчал Шерман. – Уж так у неё вокруг всё чисто, уж так чисто... Даже интересно, где она темнит? А главное – зачем?

– Ты что, ей не веришь?

– А ты?... Ты вообще кто у нас? Гинеколог или Папа Римский?... Ладно. Буду ещё проверять.

Они созванивались раза два в неделю. Октябрь уже подмораживал. В своём тесноватом синем пальто, пополневшая, М. Н. приходила к следователю Шерману, глядела на него прозрачными глазами – такая доверчивая коровушка, – а он всё делал компетентный строгий вид, хотя не знал, о чём с ней говорить. Над ним уже подтрунивали коллеги: «Как там твоя беременка?»

Чиндяев ловил себя на лишних мыслях. С ним что-то делалось – из ряда вон. Так, он отважился пофантазировать на семейную тему и был настолько дерзок в своих фантазиях, что домечтался до совместных поездок на зимнюю рыбалку, в тулупах и валенках, и совместно же сидения вечером на диване. Впечатлила побелевшая на морозе щека, которую он якобы растирал до яркого румянца, а ещё тёплая нежная ступня в домашнем шлёпанце (жена безмятежно читала, сидя рядом с ним, и это точно была М. Н.).

В их тайных консилиумах с Шерманом уже звучали абсурдные ноты: «Я где-то слышал про бани, – подкидывал тему Чиндяев. – Вроде бы можно там подцепить, на скамейке, от другой женщины...» – «Не принимается, – гундел осведомлённый Шерман. – Она предпочитает собственную ванну».

И всё-таки зануда Шерман дошёл до гениальной мысли, тоже, впрочем, почти абсурдной.

«Где вы питаетесь?» – спросил он как-то у М. Н. «Сама готовлю, себе и сыну». И тогда он потребовал, чтобы она регулярно приносила ему всё – абсолютно всё, что ест и пьёт в течение дня, по чуть-чуть: «Много не надо, я не прожорливый!» – успокоил Шерман. М. Н. взглянула на него со снисходительным сочувствием, но приносить еду и питьё согласилась.

В тот же день, потратившись на блок дамских сигарет, Шерман обольстил эксперта-криминалиста Зайнутдинову, склонив её к внеплановым анализам пищевых образцов.

«Изумительно готовите!» – причмокивал Шерман, принимая от М. Н. очередные банки-склянки. М. Н. смущалась, будто и впрямь верила, что он ценит её стряпню. А в конце недели Зайнутдинова обнаружила в курином супе сильнодействующее импортное снотворное.

«Бессонница не мучает? Или пьёте что-нибудь?» – мурлыкал воспалённый Шерман, склоняясь над М. Н. «Вообще никогда», – был твёрдый ответ.

И вот тут начинается стремительный обвал событий, о которых Чиндяев узнает задним числом. Обыск в квартире у пострадавшей. Ампулы с уже знакомым снотворным – у сына М. Н., в ящике стола. Задержание подозреваемого; он сознаётся легко, без нажима, добавляя пионерским голосом: «Я только три раза!»

Дальше хуже: М. Н. мечется, вся чёрная, безголосая, то подписывает заготовленное Шерманом заявление, то неудачно пытается забрать его назад, снова мечется, плачет, наконец срывается в жесточайший гипертонический криз, едва доползает до телефона – кровотечение и выкидыш прямо в машине «скорой помощи».

Остаётся привести ноябрьский разговор в кафе, где всевидящий Шерман хмуро вещает о будущем, и его прогнозы звучат рифмованным эхом чиндяевских предчувствий: «Его точно посадят?» – «Точно посадят». – «Статья плохая?» – «Плохая статья». – «Когда он сможет выйти?» – «Боюсь, живым-здоровым ему не выйти. Там у них свои моральные кодексы». – «Она этого не переживёт». – «Надеюсь, переживёт».

Чиндяев позвонил мне перед Новым годом – пожелать «успехов в труде и личной жизни».

Я спросил о его собственных успехах, и он внезапно сообщил, что женится. «Её зовут М. Н. Она практически самая лучшая». – «А что она говорит?» – «Насчёт чего?» – «Насчёт женитьбы». – «Я пока не спрашивал. Всё никак не соберусь».

Быть может

В школе все нормально влюблялись в одноклассниц или, в крайнем случае, в учительниц. То есть по месту учёбы. А этого мальчика угораздило влюбиться в кино. Он увидел её на экране, в дрянном фильме про «школьные годы чудесные» – и захотел, чтобы киносеанс вообще не кончался. Она не отличалась ничем особенным: тихая русая девочка в очках, с негустой чёлкой. И симпатизировал ей один лишь плюгавый троечник, которому она отвечала товарищеской заботой о его слабой успеваемости. Это по фильму. А по жизни получалось, что такое вот невзрачное сокровище, милая серая мышка нечаянно вскружила голову мальчику с периферии. Кстати, вовсе не троечнику, а возможно, даже потенциальному принцу.

В городе, где он жил, имелись два кинотеатра плюс четыре Дома культуры. И по высшей воле кинопроката картина планомерно переходила из одного полупустого зала в другой, а следом за ней плёлся влюблённый мальчик, лелея в кармане деньги на билет, сэкономленные за счёт школьных завтраков. В общей сложности он успел посмотреть фильм двенадцать раз – но даже не запомнил сюжета. Зато он увидел чернильную родинку возле губ и мягкую застенчивость жеста, когда она поправляла белую вязаную шапочку, закрывая уши на морозе.

Иногда она выглядела бледнее обычного (наверно, не выспалась). Иногда приветливей, чем нужно, обращалась к своему троечнику (прилип как банный лист)... И каждый новый просмотр окрашивался беспокойством: «Как же она там – до сих пор без меня?»

Она убегала по свежей слепящей лыжне вместе с киношными одноклассниками, ещё не зная своей судьбы. А снизу выползали титры с путеводной подсказкой: «В роли Насти – Лена Литаяева».

Декабрьским вечером потенциальный принц дождался густых фиолетовых сумерек и поккалечил фотоафишу у кинотеатра «Мир», вырезав из неё дорогой образ, который доверил совершенно секретной тетради в клетку.

Наконец картина отмерцала, ушла с экранов – а мальчик остался.

Новый год затевался еле-еле, как отсыревший бенгальский огонь, и было не жалко отдать хоть десять Новых годов за возможность просто сесть в поезд, по-взрослому независимо, доехать до столицы (где же она ещё может жить?) и поскорей отыскать эту девочку, дать ей знать о своём существовании.

Нет, он был не настолько наивен, чтобы везти свою любовь как долгожданный гостинец, как ценную бандероль. Но сама возможность, то есть невозможность такой поездки вдруг стала заглавным, потрясающим событием, которое, между прочим, не обязано было случаться. Как совсем не обязателен мираж взрослой любви посреди тошнотворной пустыни, именуемой «школьные годы чудесные». Их предстояло ещё превозмогать невыносимо долго. И, забегая вперёд, сразу скажем – никуда он поехать не смог, этот влюблённый семиклассник. А чувств его хватило, безо всякой подпитки, на целых полгода. Ведь, наверно, чувствам, если они живые, надо хоть чем-то питаться, кроме смятой картинке в секретной тетради.

На этом, собственно, можно было бы считать историю законченной, если бы не звонок по телефону, спустя двенадцать лет, из ледяного номера московской гостиницы, где неузнаваемо взрослый, неменяемо трезвый персонаж избывает время служебной командировки, затянувшейся до почти полного замерзания. Почему он вдруг вспомнил?... Я представляю беспризорное паденье пороховой пылинки в пересушенный валежник, снайперски точный солнечный укол, крошечную вспышку и – через час-другой – пожарную панику егерей среди огненных лесных соборов...

Так или иначе – он вспомнил! И поразился неравенству между собой и собой. Стоило так тосковать, погибая от желания попасть в этот недостижимый город, чтобы, начерно прожив двенадцать минут экранного времени, очнуться в центре Москвы на жестяной простыне с клеймом и содрогнуться от собственной трезвости.

Он снял казённую трубку и набрал 09.

– Тридцать седьмая слушает... – Да уж, такие числа не делятся ни на что. Только сами на себя.

– Будьте добры, квартирный телефон Литаевых.

– Вторая буква «Евгений»?

– Нет. Вторая буква «Игорь».

– Адрес?

Спросила бы чего полегче. Но без адреса она не скажет – не положено. И тут с внезапным азартом он исполнил жалостную песню «Мы сами не местные», то есть прямо с Урала, замерзаем у «трёх вокзалов», близких никого нету, кроме Литаевых. Нашего деверя семья. То есть шурина. Девушка, дайте всех – кто есть!

Видимо, спето было неплохо. Потому что суровая тридцать седьмая, вздохнув, продиктовала ему сразу четырнадцать номеров.

Теперь у простуженного командировочного появилось занятие, от которого он, кстати, не ждал абсолютно никакого результата.

Первый номер по списку – короткие гудки. Перезвоним позже. По второму – трубку сняли немедленно, словно ждали звонка. «Да», – сказал тихий прозрачный голос. Она только произнесла «да», и уже не было никаких сомнений. Но всё же: «Вы – Лена?» Мог бы и не спрашивать.

– Вы та Лена, которая в «Зимних каникулах» снималась?

– Да. Это я. А что вы хотели?

А действительно, чего он хотел? И что, вообще, ей сказать? Об этом он не успел подумать ни тогда, в седьмом классе, ни тем более сейчас. И по какой-то дурацкой инерции исполнил ещё один куплет про «не местных» – они вроде бы только ради этой встречи и прибыли сюда со своей Камчатки.

– Я сейчас иду на работу. Может быть, вечером...

Она уже, оказывается, ходит на работу. Вечером – замечательно. Где ей будет удобно.

– Знаете кинотеатр «Мир» на Цветном бульваре?

Ещё бы он не знал кинотеатр «Мир»! Других названий, кажется, в природе не существует.

– Вы меня видели где-нибудь, кроме фильма?... Значит, вы меня не узнаете. Я буду в пёстрой шубке.

... К вечеру потеплело и пошёл снег. Она увидела его раньше, чем он её, – совершенно незнакомая, симпатичная молодая женщина в меховом капоре. Незамужняя воспитательница детсада, и думать забывшая о всяких там съёмках, куда она попала девочкой случайно, практически с улицы.

Уже на третьей минуте знакомство вошло в русло непринуждённой болтовни о чём угодно. В озабоченной заснеженной толпе возникла праздно гуляющая парочка. Кавалер не нашёл ничего развлекательней, чем описать вкратце историю своего школьного сумасшествия на киношной почве. Дескать, бывают же курьёзы. Дама выслушала участливо и осторожно поинтересовалась: жива ли ещё та бесценная реликвия, огрызок покалеченной афиши? Он признался, что жива, умолчав о том, что фотография давно уплыла в коллекцию младшей сестрёнки, собирающей «артистов».

Потом они угодили ненароком на индийский фильм, где было чем заняться – например, читать угрожающим шёпотом садистские стишки, кто больше вспомнит: «Петя хотел

поглядеть на систему – теперь его можно наклеить на стену!» И прыскать, сдерживая хохот, и стукаться горячими лбами. От неё пахло мокрым мехом и польскими духами «Быть может». Они так неприлично ржали, что растроганные болельщики Зиты и Гиты чуть не выгнали их из зала. Да они и без того сами вскоре ушли, потому что придумали сварить глинтвейн в гостиничных условиях посредством кипятильника.

И в его одноместный номер они легко проникли, не замеченные сторожевой гостиничной тёткой (отлучилась как нельзя вовремя), и то, что они обзвали глинтвейном, обжигаясь пили из блюдечка, дую, как на чай, сидя на постели со скрещёнными босыми ногами, по-персидски, и сознаваясь друг другу в нежных глупостях на чистом персидском языке. И можно было беззаветно сражаться за казённую подушку – одну на двоих, и просить воспитательницу о срочных воспитательных мерах, и без спроса целовать чернильную родинку возле рта.

А следующей ночью где-то между Ярославлем и Галичем, разбуженный храпом соседа по купе, он почему-то вспомнил её фразу: «Мне нужен муж старый, лет сорока пяти, и молодой любовник...» И вдруг понял, что никогда не простит себе эту встречу, отнявшую последние права у маленького школьника, сочинителя великой счастливой Возможности, до которого теперь уже точно никому нет дела.

Ещё он подумал, что признак взрослости – всеядность. Матёрому пьянице неважно, чем гнать своё похмелье: драгоценным старинным вином, огуречным лосьоном или теми же польскими духами. Взрослый спасается чем попало от тоски и невозможности жизни.

Он вернулся из Москвы к вечеру тридцать первого декабря и сразу очутился в нарядном предновогоднем доме, где пахло мандаринами, пирогами и хвоей. Где кухня потела над неизбывным «оливье», на вешалке не хватало мест и разномастные шубы лежали вповалку. Где красили губы, шептались в прихожей, готовились к неизбежному чуду, придирчиво оглядывая себя, как перед выходом из-за кулис. Среди красивших губы была его будущая жена – самая неяркая, но самая милая. Этот розовощёкий праздник захлёбывался в наивных клятвах и счастливо завирался. Гости кричали – каждый своё. Потом затихали, теснясь по двое в медленном танце.

И никого уже больше не ждали.

Если бы я был Спесивцевым

Если бы я был Спесивцевым, я бы женился на этой злощей зеленоглазой Лиде, с отличием закончил философский факультет, а затем с радостью и любопытством подался в красновщички. Что означенный Спесивцев и совершил, буквально не моргнув глазом. Но диалектика живой природы, изведенная при пособничестве Энгельса, давала странные сбои, ввиду которых лучше прикусить язык, чем рассуждать на тему «если бы я был Спесивцевым».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.